



Даниэль
Кельман



СЕРИЯ «ШОРТ-ЛИСТ»



Шорт-лист (АСТ)

Даниэль Кельман

Ф

«АСТ»

2013

УДК 821.111-31
ББК 84(4Гем)-44

Кельман Д.

Ф / Д. Кельман — «АСТ», 2013 — (Шорт-лист (АСТ))

ISBN 978-5-17-097874-8

Близнецы Эрик и Ивейн Фридлянды и их сводный брат Мартин отправляются на выступление знаменитого гипнотизера со своим отцом. После представления Фридлянд-старший исчезает: он хочет быть свободен и счастлив – и становится писателем. Его детям остается самим распоряжаться своей жизнью, но она, похоже, оказывается подчинена неведомой им силе. Силе, которая вызовет события одного судьбоносного дня в августе 2008 года.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-097874-8

© Кельман Д., 2013
© АСТ, 2013

Содержание

Великий Линдеман	6
Жития святых	23
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Даниэль Кельман

Ф

Daniel Kehlmann

F

Издание публикуется с разрешения издательства Rowohlt Verlag GmbH

Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg,

Germany

© Зборовская Т., перевод, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Великий Линдеман

Много лет спустя, когда каждый из сыновей Артура Фридлянда успел вырасти и давным-давно погрязнуть в своих жизненных неурядицах, никто уже и не мог припомнить, чья это была идея – пойти в тот вечер к гипнотизеру.

А тогда на дворе стоял восемьдесят четвертый год, Артур сидел без работы и писал романы, которые не хотело брать ни одно издательство, и рассказы, которые периодически печатал то один, то другой журнал. Больше его ничто не занимало, но жена его была окулистом и кое-что зарабатывала.

По дороге он болтал со своими тринадцатилетними сыновьями-близнецами о Ницше и о том, какой сорт жвачки лучше, спорил с ними о мультфильме, который шел тогда в кино, где главным героем был робот и он же всех спасал, о том, почему магистр Йода так странно говорит, и о том, кто же все-таки сильнее – Бэтмен или Супермен. Затормозив у обочины пригородной улочки перед одним из множества однотипных домов, он дважды нажал на гудок, и пару мгновений спустя распахнулась входная дверь.

Последние два часа его старший сын Мартин провел у окна в ожидании, томясь от скуки и волнения. Стекло запотело от его дыхания, и он пальцем рисовал на нем рожицы – смеющиеся, серьезные и с разинутыми от страха ртами. Затем снова и снова протирал его рукавом и смотрел, как оно вновь покрывается испариной от его дыхания. Тикали часы на стене. Почему так долго? Проеехала мимо очередная машина, и еще одна, и еще – а отца с братьями по-прежнему не было.

И вот вдруг кто-то остановился, и раздался двойной гудок.

Мартин бросился по коридору, мимо комнаты, в которой закрылась его мать, чтобы не видеть бывшего мужа. Прошло четырнадцать лет с тех пор, как он стремительно и без труда исчез из ее жизни, но ее по-прежнему уязвляло то, что он мог жить, ни капельки в ней не нуждаясь. Мальчик сбежал по лестнице, промчался по первому этажу, выскочил на улицу и кинулся через дорогу – так быстро, что даже не заметил подъезжавшей машины. Взвизгнули тормоза, но он уже сидел на пассажирском сиденье, закрыв голову руками – и только тогда сердце его екнуло.

– Господи Боже, – прошептал Артур.

Чуть не сбивший Мартина водитель, сидевший за рулем красного «Фольксвагена Гольф», громко засигналил. В этом не было никакого смысла, но, вероятно, еще более бессмысленным ему показалось ничего не сделать после того, что произошло секунду назад. Затем он дал газу и вскоре скрылся из виду.

– Господи, – повторил отец.

Мартин потер лоб.

– Как можно быть таким идиотом? – подал голос один из близнецов, устроившихся на заднем сиденье.

У Мартина же было такое чувство, будто его теперь стало двое. Один был в машине, а другой тем временем скорчился на асфальте, обезображенный и неподвижный. Казалось, его судьба еще не была решена, все еще было возможно – и спасение, и гибель; и на долю секунды у него появился свой близнец, лежавший на дороге и медленно таявший в воздухе.

– А ведь мог бы и погибнуть, – со знанием дела добавил второй.

Артур кивнул.

– Но правда ведь, если у Бога есть на него какие-то планы – какие бы то ни было, – то он не убьет его, а оставит в живых?

– Богу совершенно не нужно строить какие-то планы. Ему достаточно знать. Если Бог знает, что Мартина убьет, его убьет. А если Бог знает, что ничего не случится, то ничего не случится.

– Но так не может быть. Тогда было бы совершенно все равно, что бы ты ни делал. Папа, в чем подвох?

– В том, что Бога не существует, – ответил Артур. – В этом и подвох.

Все умолкли. Отец завел мотор и тронулся. Сердце Мартина постепенно переставало биться так часто. Спустя пару минут то, что он все еще жив, покажется ему совершенно естественным.

– Ну, что в школе? – спросил Артур. – Как у тебя там?

Старший бросил на отца косой взгляд. Тот немного поправился, но волосы его, тогда еще не тронутые сединой, по-прежнему были взлохмачены, словно их никогда не расчесывали.

– С математикой сложно, боюсь, как бы двойку не получить. С французским все еще не очень. Но зато с английским уже все в порядке, – затараторил он, чтобы успеть сказать как можно больше, прежде чем Артур утратит интерес. – С немецким хорошо, по физике дали нового учителя, с химией все как всегда, но если делаем эксперименты, то...

– Ивейн, – спросил отец, – билеты у тебя?

– Нет, у тебя в сумке, – ответил один из близнецов, и теперь Мартину по крайней мере стало ясно, кто из них Ивейн, а кто Эрик.

Он посмотрел на братьев в зеркало заднего вида. Как всегда, что-то в их сходстве казалось ему неестественным, неправильным, преувеличенным. А ведь пройдет еще несколько лет, прежде чем они станут одинаково одеваться. Удовольствие, которое они получали, сбивая окружающих с толку, продлится вплоть до их восемнадцатилетия – пока они не поймут, что уже сами не могут с точностью сказать, кто из них кто. После этого их все время будет одолевать чувство, что кто-то из них однажды потерял себя и начал жить жизнью другого – а Мартин так до конца дней и не избавится от смутного подозрения, что на самом деле тем утром его сбила машина.

– Ну и что уставился? – спросил Эрик.

Старший рванулся было назад и попытался схватить брата за ухо, но тот в последний момент увернулся, схватил его за руку и резко вывернул вверх. Мартин вскрикнул от боли.

Эрик отпустил его и удовлетворенно заявил:

– Сейчас разревется!

– Свинья, – дрожащим голосом произнес Мартин. – Тупая ты свинья!

– Именно, – присовокупил Ивейн. – Разревется.

– Свинья!

– Сам такой!

– Нет, это ты свинья!

– Нет, ты!

На этом их фантазия оказалась исчерпана. Мартин уставился в окно и не отворачивался, пока не уверился, что точно не заплачет. В витринах проплывало искаженное, вытянутое, сплющенное в полумесяц отражение их автомобиля.

– Как дела у матери? – спросил Артур.

Мартин медлил с ответом. Что он мог сказать? Этот же вопрос отец задал ему еще семь лет назад, во время их первой встречи, с него начался их разговор. Тогда он показался ему очень высоким, но при этом каким-то усталым и отсутствующим, словно окутанным тонкой завесой тумана. Он боялся этого человека – и в то же время, сам не зная почему, испытывал к нему жалость.

– Как дела у матери? – спросил его незнакомец, и Мартин никак не мог понять, действительно ли это тот самый человек, который так часто являлся ему во сне, – человек без лица в неизменном черном плаще. Но лишь в тот день, когда он сидел в кафе-мороженом, ковыряясь в своем фруктовом сорбете, политом шоколадным соусом, ему вдруг стало ясно, как же хорошо было не иметь отца. Не иметь ни примера для подражания, ни предшественника, по стопам которого необходимо было идти, ни тяжкого бремени – лишь слабое представление о ком-то, с кем, может быть, ему однажды предстоит познакомиться. И кто теперь перед ним сидел? Кривоватые зубы, взъерошенные волосы, обветренные руки и пятно на воротнике. Такой же человек, как любой другой: как многочисленные прохожие на улице, пассажиры метро – да кто угодно.

– Сколько тебе сейчас лет?

Мартин сперва проглотил мороженое.

– Мне семь.

– А это твоя кукла?

Мартин не сразу сообразил, что речь шла о фрау Мюллер. Как всегда, она была зажата у него под мышкой, и он о ней даже не помнил.

– И как же ее зовут?

Он сказал.

– Какое странное имя.

Мартин не нашелся, что ответить. Куклу всегда так звали – просто-напросто фрау Мюллер. Тут он обнаружил, что у него течет из носа, и оглянулся в поисках мамы, но той нигде не было видно. Она молча вышла из кафе, как только увидела, что появился Артур.

Сколько бы раз Мартин потом ни думал об этом дне, как ни старался заставить их тогдашнюю беседу всплыть из глубин подсознания, у него ничего не вышло. Вероятно, все оттого, что прежде он слишком часто воображал эту встречу, и то, что они на самом деле друг другу сказали, довольно быстро переплелось с тем, что он за все эти годы навывдумывал. Действительно ли Артур сказал ему, что у него нет работы и вся его жизнь проходит в размышлениях о жизни – или Мартин додумал это сам как единственное правдоподобное объяснение, когда уже получше узнал его? И вправду ли на вопрос, почему он бросил их с мамой, отец ответил, что тот, кто отдается во власть семейных уз, скромной жизни и отчаяния среднестатистического существования, не в силах помочь никому, даже самому себе, что в нем разрастается рак, покрывается жиром сердце и что он уже не живет, а заживо разлагается? По Артуру вполне можно было сказать, что он способен так ответить семилетнему мальчугану, но Мартин никак не мог поверить, что и впрямь ему этот вопрос задал.

Отец вернулся только три месяца спустя. На этот раз он забрал Мартина от дома; на заднем сиденье машины сидели двое до ужаса похожих друг на дружку мальчишек – Мартину даже показалось, что это обман зрения. Они же поначалу разглядывали его с огромным любопытством, но вскоре оно поубавилось, и близнецы вновь оказались полностью поглощены собой, захвачены тайной своей двойственности.

– Мы всегда думаем одно и то же.

– Даже если это что-то очень сложное. В точности одно и то же.

– Спроси нас о чем-нибудь, и нам в голову придет один и тот же ответ.

– Даже если он неверный.

Тут они рассмеялись абсолютно одинаковым смехом, и по спине Мартина пробежали мурашки.

С тех пор отец с братьями заезжали за ним регулярно. Они ездили кататься на аттракционах, ходили в океанариумы, где плавали сонные рыбины, гуляли по рощам на окраине города, плавали в залитых солнцем, полных детского крика и запаха хлора бассейнах. При этом на лице Артура неизменно читалась усталость, он присутствовал и в то же время как

бы отсутствовал, да и близнецы не очень-то скрывали, что участвуют во всем этом, потому что их просто заставили. И хотя Мартину все это было совершенно очевидно, то были самые прекрасные вечера в его жизни. В последний раз Артур подарил ему цветной кубик с вращающимися сторонами – новую игрушку, только-только появившуюся на рынке. Вскоре Мартин уже просиживал с ним часами, мог проводить так целые дни – настолько его покорила головоломка.

– Мартин!

Он снова обернулся.

– Ты что, уснул?

Он подумал, не врезать ли ему еще раз, но решил не связываться. Драться было бессмысленно – Эрик был сильнее.

«Жаль», – подумал Эрик. Он бы с радостью отвесил Мартину оплеуху – притом, что, в общем-то, ничего против него не имел. Просто его бесило бессилие брата, бесили его кротость и боязливость. К тому же он все еще помнил и винил его за тот вечер семь лет назад, когда родители позвали их в гостиную, чтобы сообщить кое-что важное.

– Вы что, разводитесь? – поинтересовался Ивейн.

Родители в ужасе замотали головами: нет-нет, честное слово, нет! И тут Артур сказал, что есть еще и Мартин.

Эрик был настолько потрясен, что тут же предпочел сделать вид, будто то, что им только что сообщили, весьма забавно – но только он набрал в легкие воздуха, чтобы засмеяться, как услышал, что рядом с ним захихикал Ивейн. Так оно и бывает, когда ты один – и тебя одновременно двое, и любая мысль приходит в голову не тебе одному.

– Это не шутка, – сказал отец.

«А почему вы говорите об этом только сейчас?» – хотел было спросить Эрик, но и тут Ивейн его опередил:

– А почему вы говорите об этом только сейчас?

Артур ответил лишь, что порой все не так просто, как кажется.

Отец беспомощно взглянул на мать, но та, по-прежнему сидя, скрестив руки, сказала, что взрослые иногда тоже поступают не очень-то умно.

Мать другого мальчика, произнес Артур, не очень-то любит о нем говорить и предпочла бы, чтобы они не виделись. Он подчинился – надо признать, весьма охотно, потому что так и ему было бы намного проще. Лишь недавно он изменил свое мнение и теперь собирается пойти повидаться с сыном.

Эрик еще никогда не видел, чтобы отец нервничал. Кому он нужен, этот Мартин, подумал он, и как вообще отец мог сыграть с ними такую до смешного обидную штуку?

Он с ранних лет знал, что не хочет походить на своего папашу. Он хотел зарабатывать, хотел, чтобы его воспринимали всерьез, не желал оказаться человеком, которого втайне жалеют. Поэтому в первый же день в новой школе он выбрал самого здорового парня в классе и накинулся на него – разумеется, без предупреждения, и эффект неожиданности ему помог: он повалил одноклассника на землю, схватил за уши и трижды приложил головой об пол, чтобы ощутить, как тот перестает сопротивляться. После этого, зрелищности ради, Эрик нанес ему точный удар в нос: льющаяся кровь всегда производит должное впечатление. И действительно: по лицу мальчугана, которого Эрику к тому моменту уже было откровенно жаль, покатались слезы. Он отпустил его, и тот поплелся прочь, хлюпая и прижимая к носу платок с расплзающимся по нему красным пятном. С тех пор все в классе стали бояться Эрика, и никто не замечал, как он сам всех боялся.

Эрик уже понимал, что главное в жизни – решительность. Учителя, одноклассники, родители – все они были не в ладах с собой, в состоянии какой-то раздробленности; что бы они ни делали, они делали вполсилы. Остановить того, кто действительно стремился к цели,

не мог никто. Это было несомненно, как дважды два – четыре, как то, что его окружали тени, чьи очертания проявлялись лишь изредка, когда сгущались сумерки.

– Я заблудился, – сказал отец.

– Ну вот, опять! – протянул Эрик.

– Ты это нарочно, – произнес Ивейн. – Все потому, что тебе неохота.

– Конечно, неохота. Но я не нарочно.

Артур припарковался у обочины и вышел. В салон хлынул прогретый летним солнцем воздух. Мимо пролетали машины, пахло бензином. Артур спрашивал прохожих: пожилая дама просто отмахнулась от него, мальчишка на роликах даже не притормозил, мужчина в широкополой шляпе указывал то вправо, то влево, то вниз, то вверх. Беседа с юной девушкой несколько затянулась. Она слегка наклонила голову; Артур улыбнулся. Девушка куда-то показала, он кивнул и что-то ответил, та рассмеялась, рассмеялся и он; она сказала что-то, они распрощались, и, минуя его, она коснулась его плеча. Артур вернулся в машину; на лице у него все еще сияла улыбка.

– И как, помогла она?

– Она не местная. Но мужчина до нее подсказал, как проехать.

Артур дважды свернул, и перед ними оказался въезд на крытую парковку. Эрик обеспокоенно уставился в темноту. Никогда и никому он не смог бы сказать, до чего боялся любого тоннеля, любой расщелины – всякого замкнутого пространства. И все же Ивейн, вероятно, это знал; ведь у него самого в голове иногда возникали вместо своих мысли брата и всплывали слова, смысл которых был ему неизвестен. Часто бывало и так, что, проснувшись, он припоминал сны, краски в которых казались ему совершенно чужеродными – сны Ивейна были куда ярче его снов, в них ощущался какой-то необыкновенный простор, словно воздух там был чище и лучше. Тем не менее у них бывали друг от друга секреты. Эрик никак не мог понять, почему его близнец боится собак – они ведь как раз были на редкость дружескими существами; не мог понять, почему Ивейн предпочитает блондинок брюнеткам; и уж тем паче для него оставалось загадкой, почему старая живопись, навевавшая на него скуку в музее, вызывает у его брата такие сложные чувства.

Они вышли из машины. Неоновые лампы источали слабый свет. Эрик скрестил руки, уставившись в пол.

– Не веришь в гипноз? – спросил его Ивейн.

– Я верю в то, что человеку можно внушить все что угодно, – ответил Артур.

Они вошли в лифт. Двери закрылись; Эрик изо всех сил боролся с подступившей паникой. Что, если трос оборвется? Такое уже случалось и обязательно случится еще, неизвестно только, где и когда – так отчего бы не здесь и не сейчас? Наконец кабина замерла, двери распахнулись, и они направились ко входу в театр. «Сегодня вечером: мастер гипноза – великий Линдеман!» – гласил транспарант. С афиши смотрел ничем не примечательный мужчина в очках, отчаянно пытающийся соорудить мрачную мину с пронзительным взглядом. На него падал драматический свет, на лице лежали тени – словом, фотография была просто жуть. «Великий Линдеман научит вас бояться того, о чем вы мечтаете», – говорилось тут же.

Молодой человек, зевая, проверил у них билеты. Места были отличные – впереди, в третьем ряду. Партер был практически полон; на ярусах не было никого. Взглянув на богато украшенный потолок, Ивейн задумался, как такое можно было устроить: художник мастерски сымитировал купол, которого у театра не было и в помине. Как нарисовать этот потолок так, чтобы было ясно: на самом деле там нет никакого дополнительного пространства, и все это лишь иллюзия? Из книг такого не почерпнуть.

Никто не мог ему в этом помочь. Не было такой книги, не было такого учителя, которые бы его научили. Все самое необходимое приходилось постигать самому, и неудача означала бы, что жизнь была прожита зря. Ивейн частенько задавался вопросом, как сносили

тяжесть своего бытия люди, не обладавшие каким-нибудь талантом. Он не мог не замечать, что его мать хотела бы жить другой жизнью, а мысли отца постоянно где-то витали. Не мог не замечать, что учителя в школе были сплошь несчастными, малодушными людишками. И, разумеется, он не мог не знать, какие видения терзают его брата. Каждый раз, когда он оказывался во сне Эрика, он неизменно попадал в душное, темное пространство, находиться в котором он совершенно не хотел. Он не мог не наблюдать за Мартином, не мог не видеть, какой он безвольный и сколько времени проводит вдвоем с матерью. Ивейн вздохнул. Гипноз был ему совершенно неинтересен; с куда большей радостью он бы вернулся домой, порисовал бы. Наконец-то научиться лучше рисовать было единственным его желанием, единственным, что имело для него значение.

Приглушили свет, и бормотание в зале затихло. Взметнулся занавес. На сцене стоял Линдеман.

Это был полноватый, лысый человечек, и лысина его лишь сильнее бросалась в глаза оттого, что была прикрыта парой редких прядей; на нем были очки в черной роговой оправе и серый костюм, из кармана торчал кончик зеленого платка. Не поклонившись, не поприветствовав публику, он сразу заговорил тихим голосом.

Гипноз, сообщил Линдеман, не является сном – в гораздо большей степени это состояние бодрствования, обращенного внутрь, не безволия, а, наоборот, овладения собой. Сегодня нам будут явлены удивительные вещи, но публике не следует беспокоиться – как известно, никто не может быть подвергнут гипнозу вопреки его воле, и никого еще не удалось посредством гипноза заставить пойти на поступок, совершить который он в глубине души не был бы готов. Минуту помолчав, Линдеман улыбнулся, словно только что неудачно пошутил, и никто его шутки не понял.

Вниз с подмостков вела узкая лесенка. Гипнотизер спустился в зал, поправил очки, огляделся и направился вперед по проходу. По всей видимости, он раздумывал, кого бы пригласить вместе с ним на сцену. Ивейн, Эрик и Мартин втянули головы в плечи.

– Не волнуйтесь, – сказал Артур. – Он выбирает только взрослых.

– Тогда, может, это будешь ты?

– На меня гипноз не действует.

Впереди, провозгласил Линдеман, нас ожидают грандиозные события! Тем, кто не желает участвовать, не о чем тревожиться – он не перейдет границы, обойдет их стороной. Артист добрался до последнего ряда, неожиданно прытко вернулся назад и вскочил на сцену. Для начала, объявил он, сотворим что-нибудь простенькое, так, шутку, пустяк. Первый ряд, выйдите, пожалуйста, все вместе на сцену!

По залу пронесся шепот.

– Да, да, все! Вы не ослышались. И поскорее!

– А что он будет делать, если кто-нибудь откажется? – прошептал Мартин. – Если кто-то просто возьмет и останется сидеть, – что тогда?

Все сидевшие в первом ряду поднялись. Тихо переговариваясь между собой, они недовольно поглядывали по сторонам, но все же повиновались и перешагнули через рампу.

– Встаньте в ряд! – командовал Линдеман. – Возьмитесь за руки!

Поколебавшись, они подчинились.

Прохаживаясь мимо них, Линдеман внушал им, что теперь они не смогут отпустить друг друга. Не смогут, потому что не захотят, а если не захотят, то и не станут этого делать, а раз не смогут, то можно предположить, что все они держатся друг друга. Произнося эти слова, он касался стоявших, трогал их за руки. Держитесь крепче, говорил он, как можно крепче, еще крепче, чтобы никто не выпал из строя, вот так, никто не сможет отпустить другого, все держатся крепко, неразрывно. Кто хочет попробовать разорвать строй, пускай делает это сейчас!

Никто не разжал хватки. Линдеман обернулся к залу, который ответил ему неуверенными аплодисментами. Ивейн наклонился вперед, чтобы получше разглядеть лица стоящих на сцене. Все они казались нерешительными, отсутствующими и словно застывшими в оцепенении воли. Невысокий мужчина крепко сжимал зубы, у дамы с пучком на голове тряслись ладони, как будто она и хотела вырваться, но руки соседей и ее собственные руки были слишком сильны.

Гипнотизер сообщил, что сосчитает до трех, после чего они разомкнут строй.

– Итак, один... Два... – Он медленно поднял руку. – И... Три!

Раздался щелчок пальцев. Нерешительно, словно против своей воли, испытываемые отпустили друг друга и озадаченно устали на свои ладони.

– Теперь быстро возвращайтесь на свои места, – поторопил их артист, хлопая в ладоши. – Скорее, скорее!

Дама с пучком была бледна и шла, пошатываясь. Линдеман осторожно взял ее под локоть и проводил до лестницы, нашептывая что-то ей на ухо. Когда он отпустил ее, ее движения стали увереннее, она смогла спуститься и усесться обратно в кресло.

Это был небольшой эксперимент, произнес гипнотизер. Просто пустячок, чтобы с чего-то начать. Перейдем же к более серьезным вещам. Он приблизился к рампе, снял очки и, сощурившись, принялся всматриваться в зал.

– Вот вы, господин в свитере передо мной, и вы, господин сразу за ним, и вы, юная госпожа, – прошу подняться ко мне!

С вымученными улыбками все трое взгромоздились на сцену. Девушка стала махать кому-то рукой. Линдеман неодобрительно покачал головой, и она тут же прекратила. Он встал рядом с первым зрителем, высоченным бородатым мужчиной, и прикрыл ему ладонью глаза. Некоторое время он что-то шептал ему на ухо и вдруг крикнул: «Усни!» Мужчина тут же опрокинулся назад, гипнотизер успел подхватить его и уложить на пол. Затем он подошел к стоявшей рядом девушке, и произошло то же самое. Та же участь ждала и третьего. Все они лежали на сцене, не шевелясь.

– А теперь будьте счастливы!

Тут необходимо кое-что пояснить, сообщил Линдеман, повернувшись к залу, снял свои очки в роговой оправе, вытащил из нагрудного кармана зеленый платочек и принялся протирать стекла. Те глупые внушения, которые столь охотно навязывают своим подопытным посредственные гипнотизеры – бесталанные халтурщики, строящие из себя невесть кого: как и во всякой профессии, здесь их хватает, – всем хорошо известны: жар или леденящий холод, остолбенение, воображаемые падения или полеты, не говоря уж о всеми любимом фокусе с забыванием своего имени... Тут он запнулся и задумчиво огляделся – жарковато здесь, не правда ли? Душно невероятно. С чего бы? Линдеман промокнул лоб платком. Ну так вот, таких нелепостей все уже навиделись, и на них он задерживаться не будет. Бог мой, какая духота!

Ивейн отвел со лба мокрую прядь. Казалось, от пола волнами поднимается жар; воздух был влажен. Лицо Эрика тоже блестело. Повсюду обмахивались программками.

Однако, сказал Линдеман, с духотой наверняка можно что-то сделать. Не стоит переживать: наверняка этим уже занимаются, в театре ведь есть умелые техники. Скоро уже включат систему климат-контроля, наверняка это вот-вот произойдет. Здесь, на сцене, уже слышно, как жужжат кондиционеры. Чувствуется, что подул ветер. Он запахнул воротник. А теперь и вовсе сквозит, и неслабо! Удивительно, какие мощные нынче кондиционеры. Подув на руки, Линдеман принялся переминаться с ноги на ногу. Как же холодно стало, просто жуть, мороз!

– Что он такое несет? – спросил Артур.

– Ты не чувствуешь? – подал голос Ивейн. У него изо рта вырывались клубы пара, ноги онемели, дышал он с трудом. У Мартина стучали зубы. Эрик высморкался.

– Нет, – ответил Артур.

– Как, вообще ничего?

– Я же сказал, на меня эти штуки не действуют.

Но довольно, продолжил Линдеман. Буде. Довольно. Как он уже говорил, ему не хотелось бы тратить время на баловство. Он намерен тут же, без промедления, приступить к кое-чему действительно интересному – а именно к непосредственной манипуляции силой духа. Господа, лежащие на полу, уже некоторое время послушно следуют его указаниям. Они счастливы. Здесь и сейчас, под взглядом достопочтенной публики, они переживают самые выдающиеся мгновения своего бытия.

– Подымитесь!

Трое испытуемых неловко зашевелились и, приподнявшись, сели.

– Теперь смотри! – велел он женщине посередине.

Та открыла глаза. Ее грудь вздымалась и опускалась. В том, как она дышала и поводила глазами, было что-то странное. Ивейн не мог понять, что, но чувствовал, что это нечто сложное и труднодоступное. Он заметил, как дама в ряду перед ним отвела взгляд от сцены. Сидевший рядом с нею мужчина возмущенно качал головой.

– Закрой глаза! – приказал гипнотизер.

Веки девушки тут же опустились. Рот ее был приоткрыт, по подбородку тонкой струйкой стекала слюна. Ее щеки блестели в ярком свете софитов.

Увы! Ничто не вечно, возвестил Линдеман, и прекрасное проходит стремительней всего. Только что жизнь казалась непостижимо прекрасной, но ведь на самом деле все проходящее, все дряхлеет и умирает, не зная никаких различий. Почти все время мы стараемся об этом забыть. Но не сейчас, нет! Не в эту минуту.

– Теперь вы знаете, каково все по-настоящему.

Бородач застонал. Женщина медленно отклонилась назад и закрыла глаза руками. Второй мужчина принялся тихонько всхлипывать.

И тем не менее, продолжал гипнотизер, в жизни есть место и радости. Жизнь – лишь краткий день, который предваряет и завершает бесконечная ночь. Именно поэтому стоит как можно сильнее радоваться светлым минутам и плясать, покуда светит солнце! Он захлопал в ладоши.

Лежавшие покорно встали. Линдеман отбивал такт, сначала медленно, затем все быстрее. Троица подскакивала, поворачивая головы и дергая конечностями, словно марионетки. В зале стояла мертвая тишина, никто не мог даже кашлянуть или прочистить горло – казалось, всех охватил ужас. Лишь со сцены доносились побряхтывание, топот и скрип половиц.

– Теперь ложитесь обратно, – произнес Линдеман, – и видите сны!

Двое тут же шлепнулись на пол, и только мужчина слева остался стоять, шаря перед собой руками, словно слепой. Но вскоре и у него подкосились колени, и он больше не шелохнулся. Склонившись, Линдеман внимательно его осмотрел, потом повернулся к зрителям.

Теперь он намерен провести куда более сложный эксперимент. Это высший пилотаж; на такое способны немногие.

– Спите крепко. Еще крепче. Крепче, чем когда бы то ни было. Вам снится ваша новая жизнь. Сначала вы дети, потом вы учитесь, взрослеете, боретесь, надеетесь и страдаете, побеждаете и проигрываете, любите и теряете, старитесь, слабеете, дряхлеете и умираете, все это стремительно проносится перед вашим взором, а когда я скажу, вы откроете глаза – и всего этого как не бывало.

Он скрестил руки, повернулся к залу и несколько мгновений стоял, ничего не говоря.

Этот эксперимент, произнес он наконец, удастся не всегда. Бывает, что испытуемый просыпается – и выясняется, что он так ничего и не пережил. Другие, наоборот, просят помочь им забыть сон, потому что переживание чересчур их смутило и они больше не могут

верить тому времени и тем обстоятельствам, в которых живут. Он взглянул на часы. Но пока что, дабы скоротать ожидание, проделаем несколько простых трюков. Есть ли в зале дети? Он привстал на цыпочки. Вот вы, в пятом ряду, вы, барышня с краю, и вы, молодой человек, как две капли воды похожий на своего соседа, – прошу ко мне!

Ивейн посмотрел сначала направо, потом налево, потом оглянулся назад и вопросительно ткнул себя в грудь пальцем.

– Да, ты, – ответил Линдеман.

– Ты же сказал, что он выбирает только взрослых, – прошептал Ивейн.

– Значит, я был неправ.

Мальчик почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Сердце застучало. Двое других детей уже пробирались к подмосткам. Линдеман глядел на него, не отрываясь.

– Хочешь, сиди, – бросил Артур. – Приказать тебе он не может.

Ивейн медленно встал и огляделся по сторонам. Взгляд каждого зрителя в этом зале, во всем этом театре, был направлен на него. Нет, Артур и тут неправ: отказываться неуместно. В конце концов, это сеанс гипноза, и если уж ты на него пришел, то придется поучаствовать. Он слышал, что отец бормочет ему что-то еще, но разобрать, что, он не мог, так громко колотилось его сердце, да и ноги уже несли его вперед. Он протиснулся мимо коленей соседей по ряду и направился по проходу к сцене.

До чего же там, наверху, было светло! Софиты оказались ярче, чем он думал, а очертания людей в зале казались условными. Трое взрослых лежали без движения, никто не шелохнулся, и создавалось впечатление, будто они даже и не дышали. Ивейн обратил взор в темноту, но отца с братьями не разглядел. Очувтившись перед ним, Линдеман опустился на колени, осторожно, словно тот был хрупким предметом мебели, отодвинул его на шаг назад и взглянул ему прямо в лицо.

– Мы справимся, – негромко произнес гипнотизер.

Вблизи он выглядел старше. В уголках глаз и губ Линдемана проглядывали морщины, грим был наложен небрежно. Если бы кто-то рисовал его портрет, то его внимание в основном сосредоточилось бы на глубоко посаженных глазах – глазах беспокойных, трудноразличимых за стеклами очков; по всей вероятности, то, что гипнотизеры пристально смотрят подопытным в глаза, заставляя раствориться в их взгляде, было всего лишь мифом. Кроме того, от него пахло мятой.

– Как тебя зовут? – спросил артист уже несколько громче.

Сплотнув, мальчик ответил.

– Расслабься, Ивейн, – произнес Линдеман, повысив голос так, чтобы его услышали зрители в первых рядах. – Сложи руки. Скрести пальцы.

Ивейн повиновался, думая, как это вообще возможно – расслабиться, стоя на сцене перед такой толпой народа. Наверняка гипнотизер говорил не всерьез, а просто пытался сбить его с толку, чтобы он не мог сосредоточиться.

– Вот так, хорошо, – обратился Линдеман уже ко всем троим стоящим на сцене детям, так, чтобы его слышали все зрители. – Успокойтесь, расслабьтесь! Вот только расцепить руки вы уже не можете. Ваши руки словно приросли друг к другу, у вас ничего не выйдет!

Это была неправда. Ивейну не составило бы никакого труда расцепить руки, он не чувствовал никакой преграды, никакого сопротивления. Вот только портить номер не было резона. Ему хотелось одного – чтобы все это закончилось.

Гипнотизер продолжал вещать. В его речах то и дело проскальзывало слово «Расслабьтесь!», он все повторял, чтобы ребята внимательно его слушали и повиновались. Может быть, на тех двоих это и действовало, но Ивейн ни малейшего воздействия не ощущал. Он чувствовал себя так же, как несколько минут назад, никаким трансом и не пахло. А еще ему хотелось в туалет.

– Попробуй, – обратился Линдеман к мальчишке, стоявшему рядом с ним. – Расцепи руки! У тебя ничего не получится. Попытайся, но у тебя не выйдет!

Раздался глубокий, грохочущий звук; лишь спустя пару мгновений Ивейн понял, что это смех. Публика смеялась над ними. Но со мной это не пройдет, подумал он. Наверняка гипнотизер заметил, что с ним этот фокус не работает, потому и не обращается к нему.

– Поднимите правую ногу, – приказал артист. – Все трое. Сейчас же!

Ивейн увидел, что мальчик с девочкой подчинились приказу, и ощутил, как все взгляды обратились на него. На лбу у него выступил пот. Что ему оставалось делать? Он задрал ногу. Теперь все подумают, что он тоже находится во власти гипноза.

– Забудь свое имя, – произнес Линдеман, обращаясь к нему.

Ивейн почувствовал, как внутри у него вскипает гнев. Происходящее постепенно переходило все грани разумного. Если тот еще раз к нему обратится, он не сможет смолчать и будет вынужден опозорить его перед всеми.

– Скажи, как тебя зовут?

Ивейн кашлянул, прочистив горло.

– Ты не можешь! Ты забыл свое имя, у тебя не получится ответить. Как тебя зовут?

Наверное, дело было в неловкости его положения, в том, как ярко бил в глаза свет, в том, что стоять на одной ноге перед толпой было совсем не просто – пришлось полностью сосредоточиться на удержании равновесия. Нет, ему изменила вовсе не память, а голос. Он застрял у него в глотке и отказывался звучать. Что бы у него сейчас ни спросили, ему пришлось бы хранить молчание.

– Сколько тебе лет?

– Тринадцать, – услышал он свои слова. Значит, каким-то усилием воли немоту можно было преодолеть.

– Как зовут твою мать?

– Катарина.

– Как зовут твоего отца?

– Артур.

– Это вон тот господин в зале?

– Да.

– А как зовут тебя?

Он молчал.

– Ты не знаешь?

Разумеется, он знал. Он чувствовал очертания своего имени у себя на языке, знал, где именно оно хранится в памяти, ощущал его, но ему казалось, что тот, кому оно принадлежит, и тот, кого спрашивал Линдеман, – это два разных человека. Все перемешалось, да все это было не важно по сравнению с тем, что он стоял на сцене, сцепив руки и задрал ногу, у него чесался нос и ему хотелось в туалет. И вот уже имя само всплыло у него в голове: Ивейн, ну конечно же, его зовут Ивейн, он набрал воздуха в легкие, раскрыл рот и...

– Ну, а ты? – обратился Линдеман к стоявшему рядом мальчишке. – Ты помнишь, как тебя зовут?

Но теперь-то я вспомнил, хотел было крикнуть Ивейн, теперь-то я могу ответить! Но так ничего и не произнес. Его охватило чувство облегчения от того, что гипнотизер занялся кем-то другим. Он слышал, как тот задает детям какие-то вопросы, они что-то говорят в ответ, а зрители смеются и аплодируют. Чувствовал, как по лбу стекают капли пота, но стереть их не решался – стыдно шевелить руками, раз все считают, что ты в транс.

– Ну вот, все и позади, – раздался голос Линдемана. – Было совсем не страшно, правда? Расцепите руки, встаньте на обе ноги. Вы уже помните, как вас зовут. Все позади. Просыпайтесь, все позади.

Ивейн опустил ногу, что, разумеется, далось ему без труда – он уже давно мог бы это сделать.

– Все хорошо, – тихо произнес гипнотизер и положил ладонь ему на плечо. – Все позади.

Следом за другими Ивейн спустился с подмостков. Ему хотелось спросить у других детей, что они чувствовали, что думали и видели, каково это – действительно пребывать под гипнозом. Но вот он уже дошел до третьего ряда, сидящие потеснились, чтобы дать ему пройти, он протиснулся мимо коленей, сел на свое место и глубоко вздохнул.

– Ну как? – шепотом спросил Мартин.

Ивейн пожал плечами.

– Ты помнишь, что произошло, или все забыл?

Только Ивейн хотел ответить, что он, разумеется, все помнит, а то, что произошло, было всего лишь нелепым фокусом, как заметил, что сидевшие перед ними обернулись. Они смотрели не на сцену, а на него. Все зрители в зале на него уставились. Линдемман солгал – до «позади» было еще далеко.

– Это он? – спросил гипнотизер.

Ивейн посмотрел на сцену.

– Это твой отец?

Мальчик посмотрел на Артура, потом на Линдеммана, потом снова на Артура. И кивнул.

– Не подниметесь ли вы ко мне на сцену, Артур?

Артур покачал головой.

– Вам кажется, что вы не хотите. Но на самом деле хотите. Поверьте.

Артур рассмеялся.

– Это не больно, не опасно, вам даже может понравиться. Сделайте нам одолжение.

Отец снова покачал головой.

– Вам и впрямь не хочется знать, что будет?

– На меня эти штуки не действуют! – крикнул Артур.

– Возможно. Очень может быть, такое тоже иногда случается. Именно поэтому вам и стоило бы подняться ко мне.

– Выберите кого-нибудь другого.

– Но мне бы хотелось видеть именно вас!

– Почему?

– Потому что мне так хочется. Потому что вы убеждены, что не хотите.

Артур покачал головой.

– Ну же!

– Давай, иди уже, – прошептал Эрик.

– Это же так интересно, – поддакнул Мартин.

– На нас все смотрят, – добавил Ивейн.

– Ну и что? – парировал Артур. – Пускай смотрят! Почему вы, дети, всегда всего стыдитесь?

– Давайте все вместе позовем Артура! – воскликнул Линдемман. – Отправьте его ко мне, покажите, что хотите его видеть, похлопайте, если желаете, чтобы он вышел на сцену. Хлопайте изо всех сил!

Грянули оглушительные аплодисменты, раздались крики и топот, словно ни для кого из присутствующих не было ничего важнее желания гипнотизера, словно увидеть Артура на сцене было бы для всех них высшим счастьем. Шум становился все громче, к нему примешивались новые и новые голоса: публика аплодировала и подзадоривала Артура. Тот не двигался с места.

– Ну пожалуйста! – вскрикнул Эрик.

– Пожалуйста, выйди к ним, я тебя прошу, – присоединился Мартин.

– Только ради вас, – ответил отец и встал. Пробравшись сквозь ликующую толпу к проходу, он поднялся на подмости. Линдеман сделал быстрое движение рукой, и в зале воцарилась тишина.

– Со мной вам не повезло, – произнес Артур.

– Вполне возможно.

– На меня эти штуки правда не действуют.

– Тот милый мальчик – это ваш сын?

– Мне очень жаль, но вы действительно выбрали не того. Вам нужен был человек, которого вы бы сначала огорошили, а потом втянули в милую беседу, выведали бы у него что-то, над чем могли бы посмеяться, позабавив зрителей. Может, опустим это? Вы не сумеете меня загипнотизировать. Я знаю, как работает гипноз. Немного давления, немного любопытства, желание оправдать ожидания, страх сделать что-то не так – и вуаля! И, разумеется, жажда новых впечатлений. Но ко мне это все не относится.

Линдеман молчал. Стекла его очков блестели в свете софитов.

– Они слышат наш разговор? – указал Артур на лежащие неподвижно тела.

– Сейчас они заняты другим.

– И вы хотите сотворить со мной нечто в этом роде? Заставить меня придумать себе новую жизнь?

Как же у отца получается так, подумал Ивейн, что в зале слышно каждое его слово – микрофона у него нет, говорит он тихо, но все равно его речь звучит отчетливо. Он стоял в расслабленной позе, так, словно был с гипнотизером один на один и имел право задавать ему любые вопросы, приходящие ему в голову. И вид у него был уже не отсутствующий – напротив, казалось, что происходящее его забавляет.

Линдеман же впервые за все это время казался неуверенным. Он по-прежнему улыбался, однако лоб его был нахмурен. Он взялся за оправу, снял очки, снова надел, потом опять снял, сложил и сунул в нагрудный карман, спрятав за зеленый платок. После этого он поднял правую руку и как бы накрыл ею лоб Артура.

– Смотрите на мою ладонь.

Артур усмехнулся.

Левой Линдеман коснулся его плеча.

– Смотрите на мою ладонь, не отводите взгляда, смотрите на нее. Смотрите на мою ладонь.

– Я и смотрю!

По залу пронесся смешок. Линдеман на мгновение скривился.

– Смотрите на мою ладонь, смотрите на нее. Смотрите на мою ладонь, только на нее, больше ни на что, смотрите на мою ладонь.

– Не вижу ничего необычного.

– А вы и не должны, – в голосе Линдемана сквозило недовольство. – Просто смотрите! Смотрите на мою ладонь, смотрите на нее, больше ничего не нужно.

– Вы пытаетесь сконцентрировать на себе мое внимание, так? Вот в чем дело. Внимание, направленное на само внимание. На то, как оно направлено на самое себя. Это замкнутый круг, и вот ты уже не можешь...

– Там, в зале, ваши сыновья?

– Верно.

– Как их зовут?

– Это имеет значение?

– Я спросил, как их зовут.

– Ивейн, Эрик и Мартин.

- Ивейн и Эрик?
- Как рыцарей Круглого стола.
- Расскажите о себе.

Артур промолчал.

- Расскажите о себе, – повторил артист. – Здесь все свои.
- Говорить особо не о чем.
- Какая жалость! Печально, если это и вправду так.

Линдеман опустил руку, наклонился к Артуру и посмотрел ему прямо в глаза. Было тихо, слышалось только негромкое жужжание, то ли стрекот кондиционера, то ли шелканье наэлектризованного воздуха вокруг софитов. Гипнотизер сделал шаг назад, скрипнула половица, один из лежавших на сцене застонал.

- Кто вы по профессии?

Артур молчал.

- Или вы ничем не занимаетесь?
- Я пишу.
- Вы пишете книги?
- Если бы то, что я пишу, напечатали, то да, это были бы книги.
- Вам отказывали?
- Пару раз.
- Очень жалко.
- Ничего страшного.
- Вас это не смущает?
- Я не тщеславен.
- Ой ли?

Артур опять промолчал.

– Вы не похожи на человека, ничего не ждущего от жизни. Вы бы хотели считать себя таковым, но это не так. Я тоже вас таковым не считаю. Никто в это не верит. Чего вы на самом деле хотите? Здесь все свои. Скажите, чего вам хочется?

- Исчезнуть.
- Отсюда?
- Отовсюду.
- Из дома?
- Отовсюду.
- Из привычной обстановки?
- В привычной обстановке чахнешь.
- Вы говорите так, словно не очень-то довольны жизнью.
- А кто нынче доволен?
- Отвечайте, пожалуйста.
- Да, я недоволен.
- И не счастливы?
- Нет, не счастлив.
- Повторите, пожалуйста.
- Я несчастлив.
- Как же вы это терпите?
- Ну а что же мне делать?
- Может быть, сбежать?
- Нельзя же все время убегать.
- Почему?

Артур промолчал.

- Ну а дети? Вы любите ваших детей?
- Детей надо любить.
- И правда, надо. Вы их всех любите одинаково?
- Ивейна люблю больше.
- Почему?
- Он больше похож на меня.
- А вашу жену вы любите? Здесь все свои.
- Она любит меня.
- Вопрос был не в этом.
- Она зарабатывает, она обо всем заботится, кем бы я был без нее?
- Может, без нее вы были бы свободны?

Молчание.

– Что вы думаете обо мне? Вы не хотели выходить на сцену, но вот вы здесь. Вы были уверены, что гипноз на вас не действует. Что вы думаете сейчас? Например, обо мне вы что думаете?

– Вы маленький человек. Вы не уверены в себе, потому и делаете то, что делаете. Потому что если бы вы не умели хотя бы этого, то были бы никем. Потому что когда вы не на сцене, вы заикаетесь.

Линдеман сделал паузу, словно хотел дать публике возможность посмеяться, но не раздалось ни звука. Его лицо стало бледным, как воск. Артур стоял прямо, словно аршин проглотил, руки свисали по бокам. Он не шевелился.

– Ну а ваша работа? Ваше писательство, ваше сочинительство? А, Артур? Об этом вы что думаете?

- Все это не важно.
- Почему же?
- Я убиваю время. Это не стоит внимания.
- И вас не смущает, что ваши произведения не печатают?
- Нет.
- И то, что у вас не получается стать хорошим писателем, вас тоже не тревожит? Нет? Артур слегка отступил.

– Вам кажется, что вы не тщеславны, так? Но, возможно, было бы лучше, если бы вы были тщеславны, Артур. Возможно, быть тщеславным лучше. Возможно, вам следовало бы постараться стать хорошим писателем, признаться самому себе, что вы хотите им быть. Следовало бы приложить усилия, взяться за работу, изменить свою жизнь. Изменить все. Все, Артур! Как думаешь, а?

Артур молчал.

Линдеман подошел еще ближе, поднялся на цыпочки и приблизил свое лицо к его лицу.

– Экая халатность. Зачем напрягаться, думал ты всю свою жизнь, правда? Ну а сейчас? Молодость прошла, все, что бы ты ни делал, обретает весомость, легкости бытия как не бывало – и что теперь? Жизнь коротка, Артур. А растратить ее можно еще быстрее. Что должно произойти? Чего ты хочешь?

- Исчезнуть.
- Отсюда?
- Отовсюду.

– Тогда слушай, – гипнотизер положил руку ему на плечо. – Это приказ, и ты будешь следовать ему, потому что ты хочешь ему следовать, а хочешь ты ему следовать потому, что я тебе приказываю, а приказываю я потому, что ты хочешь, чтобы я тебе приказывал. С сегодняшнего дня ты начинаешь прилагать усилия. Чего бы это ни стоило. Чего бы это ни стоило. Повтори!

- Чего бы это ни стоило.
- Начиная с сегодняшнего дня.
- Начиная с сегодняшнего дня, – повторил Артур. – Чего бы это ни стоило.
- Во что бы то ни стало.
- Чего бы это ни стоило.

– И тебя не должно беспокоить то, что здесь произошло. Наоборот, ты будешь вспоминать об этом с радостью. Повтори.

– Вспоминать. С радостью.

– В конце концов, это все не важно. Все это игра, Артур, просто забава, чтобы убить время долгими вечерами. Как и твое сочинительство. Как и все, что делают люди. Я три раза хлопну в ладоши, и ты сможешь занять свое место в зале.

Гипнотизер хлопнул в ладоши – раз, другой, третий. По Артуру не было заметно никаких изменений. Он стоял все так же, вытянувшись, слегка откинув голову назад. Не было слышно ни звука. Он нерешительно повернулся и спустился по лестнице. То тут, то там раздались редкие хлопки, но лишь когда он подошел к своему месту, грянули аплодисменты. Линдемман поклонился и указал на Артура. Тот улыбнулся бессмысленной улыбкой и повторил его жест.

В этом и заключается вся прелесть его профессии, отметил Линдемман, когда публика затихла, – никогда не знаешь, что готовит тебе грядущий день. Нельзя и предположить, с какими трудностями предстоит столкнуться. Но вот настала наконец пора продемонстрировать высший пилотаж, лучший номер, гвоздь программы. Слегка коснувшись виска девушки, он пробудил ее и спросил, что ей довелось пережить.

Она приподнялась, но едва ей удалось вымолвить несколько слов, как она разволновалась, и у нее перехватило дух. Девушка начала всхлипывать, задыхаться, хватать ртом воздух. Поились слезы. Рассказывала она о том, как была крестьянкой в горах Кавказа, о том, до чего трудными были суровые зимы ее детства, о братьях и сестрах, о матери, об отце, о муже, о скотине, о снегах.

– Давайте уйдем, – шепотом попросил Ивейн.

– Да, пожалуйста, давайте уйдем, – подхватил Эрик.

– Почему?

– Пожалуйста, – присоединился к ним Мартин. – Прошу, давайте уйдем! Прошу!

Стоило им подняться с мест, как по рядам пронесся злобный смешок. Эрик сжал кулаки и постарался вообразить, что все это – игра его воображения, а Мартин впервые осознал, что люди могут злорадствовать совершенно без причины, вести себя грубо или подло без всяких на то оснований. Но точно так же, без причины, они могли вести себя хорошо, быть добрыми, приветливыми и готовыми помочь – все в одном. Но прежде всего люди были опасны. Осознание этого навсегда врежется ему в память, сольется с образом Линдеммана, глядевшего со сцены, как они в спешке ретируются, и протиравшего очки зеленым платком. Когда Мартин последним покидал зрительный зал, их взгляды встретились: гипнотизер глядел на него, вскинув брови, улыбаясь, в уголке рта влажно поблескивал кончик языка. И вот с тихим щелчком затворилась дверь.

Всю обратную дорогу Артур насвистывал, барабанил пальцами по рулю. Мартин сидел рядом с ним, прямой как палка, Ивейн уставился в одно окно, Эрик – в другое. Отец дважды спросил, что побудило их уйти и почему, боже мой, почему дети постоянно всего стыдятся, но так как ему никто не ответил, Артуру оставалось лишь бросить, что каких-то вещей ему никогда не понять. А эта женщина, вдруг воскликнул он, и все эти дурацкие рассказы про русских крестьян – вот уж где они точно перестарались, наверняка она была его помощницей, это же даже ребенку ясно, ведь как в такое можно поверить! Артур включил радио, тут же выключил, опять включил, потом, подождав немного, выключил снова.

– А вы знаете, – спросил он, – что кондор летает выше всех?

– Нет, – ответил Эрик. – Я не знал.

– Так высоко, что иногда с земли его уже не видно! Как самолет. А иногда он поднимается на такую высоту, что путь вверх оказывается короче, чем назад, на землю.

– В смысле? – перебил его Ивейн. – Куда это – вверх?

– Ну, туда, вверх! – Артур потер лоб и на несколько мгновений закрыл глаза.

– Не понимаю, – сообщил Мартин.

– Да что здесь понимать! Скажи лучше, как дела в школе. Ты никогда ни о чем не рассказываешь.

– Все в порядке, – тихо ответил Мартин.

– Никаких проблем, никаких сложностей?

– Нет.

Артур включил радио и опять выключил.

– Ну все! – воскликнул он. – На выход!

Мартин, Эрик и Ивейн озадаченно переглянулись. Только теперь они заметили, что подъехали к дому, где жил Мартин.

Тот вышел.

– Что, мы тоже? – спросил Ивейн.

– Разумеется.

Близнецы нерешительно вышли из машины, в ней остался один Артур. Эрик опустил взгляд и рассматривал свои башмаки. Вдоль трещины в асфальте спешил муравей, дорогу ему преграждал серый жук. Раздави жука, раздался голос у него в голове, раздави его, ну же, скорее, тогда, может быть, все кончится хорошо. Он приподнял ногу, но поставил ее на землю, оставив жука в живых.

Артур опустил стекло.

– Сынишки мои, – произнес он, засмеялся, закрутил обратно ручку и нажал на газ.

Все трое смотрели, как машина удаляется, становится все меньше и наконец исчезает за углом. Некоторое время никто не говорил ни слова.

– Как нам отсюда выбраться? – подал в конце концов голос Ивейн.

– Через пять кварталов есть автобусная остановка, – ответил Мартин. – Садитесь, выходите на седьмой, пересеживаетесь на другой автобус, проезжаете еще три остановки, и будет метро.

– Можно к тебе? – спросил Эрик.

Мартин покачал головой.

– Почему?

– Мама несколько своеобразно к этому относится.

– Но мы ведь твои братья!

– Вот именно.

Когда они все-таки позвонили в дверь, мать Мартина на удивление быстро вошла в их положение. Невероятно, до чего же вы похожи, повторяла она снова и снова. Она угостила близнецов кока-колой и засахарившимися мармеладными мишками, которые те съели, дабы не показаться невежливыми, – и, разумеется, позволила Ивейну воспользоваться телефоном, чтобы позвонить домой.

Потом они поднялись в комнату Мартина, где он достал маленький пневматический пистолет, подаренный ему отцом всего пару месяцев назад, который ему приходилось хорошенько прятать от матери. Они встали у окна и по очереди принялись целиться в дерево через дорогу; его очертания постепенно расплывались в наступающих сумерках. Эрик дважды попал в ствол и дважды в листву, Ивейн – дважды в ствол, но ни разу в листву, а Мартин

– один раз в листву, но ни разу в ствол. Они понемногу сближались и начинали понимать, что это на самом деле значит – быть братьями.

Тут подъехала машина, и громкий гудок заставил близнецов броситься вниз по лестнице на улицу. На вопрос матери, что случилось и где отец, они не знали, что ответить. Но когда в начале первого ночи от Артура пришла телеграмма, мать подняла их из постели и заставила выложить все начистоту.

Артур взял с собой заграничный паспорт и снял все деньги с их общего счета. В телеграмме было всего две фразы. Первая гласила, что у него все хорошо и не нужно за него волноваться. Вторая – что не надо его ждать, он вернется очень не скоро. И действительно, так и случится – в следующий раз трое сыновей увидятся с ним уже взрослыми. Однако за эти годы свет увидят те книги, благодаря которым мир и знает имя Артура Фридлянда.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Исповедую Богу всемогущему. Я слышу их голоса, но ничего не вижу – так слепит меня солнце, проникающее в окна. Что я согрешил много мыслью. Стоящий рядом министр зевает. Словом и делом. Я тоже зеваю, глядя на него, но вынужден подавить зевок и оттого стискиваю зубы так, что на глазах выступают слезы.

Лучи вот-вот уже лягут под углом, и от моря теней отделится небольшая группа: пятеро старух, приходящих из раза в раз, дружелюбный полноватый мужчина, не очень дружелюбный полноватый мужчина, печальная юная дева и фанатик. Фанатика зовут Адриан Шлютер. Он часто пишет мне письма, от руки, на дорогой бумаге. Об электронной почте он, видно, и не слышал.

Моя вина, моя вина, моя величайшая вина. Не могу привыкнуть, что приходится так рано вставать. «Хвалим Тебя, благословляем Тебя», – грянул орган. Я не попадаю почти ни в одну ноту, но это часть профессии – почти никто из священников не умеет петь. Прими молитву нашу. Музыка смолкает. Покуда мы пели, солнце встало, в окнах радостно пляшут разноцветные огни, снопы света тонкими остриями пронзают воздух, в каждом взмывают клубы пыли, словно снег в метель. Так рано – а уже так жарко. Лето вступает во времена безжалостной страды.

Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной. Все так же зевая, министр кладет на амвон треножник. Будь на то моя воля, бедный мальчик еще спал бы в своей кровати. Сегодня пятница, проповедь читать не надо – и на том спасибо. Слово Божие. Все садятся, вперед выступает Марта Фруммель, ей семьдесят восемь лет, и через день во время утрени она читает Евангелие.

Первое Послание к коринфянам святого апостола Павла. И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Марта – женщина добрая, мягкосердечная, вот только голос у нее скрипучий, как старая шарманка. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

Слово Господне. Пошатываясь, Марта Фруммель возвращается на свое место. Паства поднимается, затягивает: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Солнце уже не слепит, и можно разглядеть грубоватые силуэты в витражном стекле: вот агнец, вот уставившийся на него Спаситель, вот хлебный ломоть в лучистом венце креста. Зданию церкви столько же лет, сколько мне самому, стены намеренно скошены, вместо алтаря – неотесанный кусок гранита, по неизвестной причине установленный не на востоке, а на западе, так что солнце во время утрени слепит вовсе не прихожан, как полагается, а меня.

Чтение из святого Евангелия. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Я захлопываю книгу. Как точны они, эти слова из чтения на восьмое августа две тысячи восьмого года, – но это всего лишь случайное совпадение.

Символ веры. Откашлявшись, я возглашаю то, во что и сам очень хотел бы верить: во единого Бога, Отца всемогущего, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и в Духа Святого, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Да, было бы хорошо, если бы так и было.

Молитва верных. Молим Тебя о доминиканцах, чтобы они с усердием трудились во славу Твою, ибо сегодня почитаем память святого Доминика. Молим Тебя – услышь нас, Господи. Молим тебя об ищущих, да обрящут, услышь нас, Господи. О всех больных и обо всех уклонившихся от упования и веры. Как-то раз на семинаре по литургике мы рассуждали о том, есть ли смысл просить всеведущую сущность об исполнении желания. Отец Пфaffenбихель тогда объяснил, что молитва оглашенных не имеет особого значения и в обряде ее вообще-то можно опустить. Знал бы он мою паству! В том году не прошло и двух недель без этой молитвы, как прихожане уверились, что Бог оставил их. Девять мейлов с жалобами мне, еще три, к сожалению, епископу – и в придачу одно официальное заявление о выходе из церкви. Пришлось послать фрау Коппель бонбоньерку и нанести ей два визита, чтобы переубедить.

Евхаристия. Министрант оmyвает мне руки, орган исторгает первые ноты славословия, я вздымаю руки, охватив патену со Святой Жертвой. Этот миг преисполнен величия и мощи. Можно даже подумать, будто люди действительно верят, что облатка обращается в плоть распятого. Но они, конечно, не верят. В это невозможно поверить, если только ты не сошел с ума. Но можно верить в то, что в это верит священнослужитель, который сам, в свою очередь, верит в то, что в это верит его приход; можно на автомате повторять затверженные слова, запретив себе думать над их смыслом. Свят, свят, свят, скандирую я, и меня на самом деле посещает такое чувство, будто я окружен ореолом какой-то силы. Магические ритуалы, насчитывающие тысячи лет, древнее Рождества Христова, древнее огня и стали. Еще первобытные люди грезили о растерзанных богах. Потом возникло сказание об Орфее, разорванном богинями мести, возник миф об Осирисе, сошедшем в Царство Тьмы и вновь соединенном в живую плоть, и лишь много позже появился образ Назаретянина. Старая, пропитанная кровью фантазия, день за днем воскрешаемая во множестве мест. Как просто было бы назвать сие действие символическим актом, но это была бы ересь. В это надлежит верить, ибо так предписано. Но поверить в это невозможно. Надо, но невозможно. Вознесем сердца, призываю я. Возносим ко Господу, ответственуют мне. Велика тайна веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Министрант касается алтарных колокольников, их звон, дрожка, повисает в воздухе, и когда моя паства опускается на колени, скрипят скамьи.

Держа гостию, я воздеваю руки. Тишина такая, что слышен шум проезжающих по улице машин. Опустив облатку, я, как положено, преклоняю колена. Меня тут же прошибает пот, мне трудно держать равновесие, на прошлой неделе я завалился – было ужасно стыдно. Держись, Мартин, держи спину прямо, держись! Пошатываясь и обливаясь потом, я выпрямляюсь. Спасительными заповедями вдохновленные, выдыхаю я, дерзаем звать.

Отче наш, сущий, да святится, да придет, да будет, фразы, отшлифованные тысячелетним повторением, избавь нас, Господи, аминь. Преломив над патеной гостию, кладу ее в рот и на мгновение погружаюсь в наслаждение ее суховатым вкусом. На Тело Христово она вряд ли похожа, но вкусна. Орган вступает с «Агнцем», к причастию подходят пятеро моих прихожан. Я с опаской думаю о стариках, желающих, чтобы преобразенный хлеб им клали на язык, как было принято до Второго Собора; трудно положить что-нибудь на язык, не коснувшись его кончиками пальцев. Но сегодня мне повезло: три пары протянутых рук и всего один сморщенный старческий язык. Последним, как всегда, подходит Адриан Шлютер.

– Тело Христово, – произношу я.

– Во веки веков, аминь, – отвечает он и глядит при этом не на гостью, а на меня, пристально и не мигая, словно хочет мне что-то доказать. Он вернется – сегодня вечером, завтра утром, завтра вечером, он будет представлять передо мной каждый день, он – испытание мое.

Орган берет последние аккорды и умолкает. Я приступаю к заключительному обряду. С умирной совестью и сердцем, свободным от лукавства, мы сможем нести всем людям истинную радость и мир. Господь с вами.

И со духом твоим.

Идите в мире Христовом.

Благодарение Богу.

Спешу первым оказаться у выхода, распрямляюсь, возвышаясь в сонме врывающихся внутрь жарких утренних лучей. Рука Марты Фруммель – как наждачная бумага. Фрау Вигнер ссутулилась, у нее нехорошо с сердцем, да и со спиной тоже. Фрау Коппель кажется здоровенькой, но вид у нее такой же одинокий, как всегда. Фрау Хельгнер очень слаба – впредь я буду видеть ее нечасто. Кто же так поступает с людьми? Более всего мне хотелось бы обнять их, но я толстый и потный – вряд ли кому-то это придется по душе. Поэтому я просто жму руки и улыбаюсь. Вот все и ушли, остался один человек.

– Дорогой мой герр Шлютер, я сегодня немного тороплюсь.

– Вопрос веры, всего один вопрос. Отец Фридлянд, он не дает мне покоя.

Стараюсь глядеть на него участливо.

– Троица. Я читал Тертуллиана. Читал Ранера. И, разумеется, Его Святейшество Ратцингера. Но я не понимаю.

– Чего именно вы не понимаете?

– Святого Духа.

Во взгляде моем сквозит отчаяние.

– Я понимаю Отца, понимаю Сына, понимаю разницу между Сыном и Духом Святым. Но в чем разница между Духом Святым и Отцом? Барт говорит, что Бог – это субъект, Дух Святой – содержание, а Сын – это то, как Бог открывается нам.

– Тайна сия велика.

Сработало. Шлютер моргнул. Что бы я делал без слова «тайна»?

– И она открылась нам, – я умолкаю, терзаемый сомнениями: «открылась» или «была открыта» – как правильно? Надо бы проверить. – Господь поведал нам, что это так. Мы можем попытаться постичь это откровение разумом. Но разум наш имеет границы. И за пределами этих границ начинается вера.

– Я и не должен этого понимать?

– В этом нет необходимости.

– То есть понимать вовсе даже и не следует?

– Вы не обязаны.

Его рука на ощупь мягкая и сухая, рукопожатие даже не вызывает неприятных ощущений. На сегодня я от него отделался. Он собирается уходить, я с облегчением спешу в ризницу.

Министрант помогает мне снять облачение. Стоит мне остаться в одной рубашке, как я начинаю сторониться своего отражения в зеркале. При этом в моей полноте нет ничего зазорного: великий католик Честертон был упитанным мужчиной, да и сам Фома Аквинский представляется мне человеком мудрым, но не лишенным округлостей. По сравнению с ними я практически схожу за стройного. Я опускаюсь на диван; на подлокотнике лежит мой кубик Рубика. Как всегда, от одного его вида во мне просыпается радость, и руки сами тянутся к нему. Недавно мальчик спросил меня, что это и зачем он нужен. Вот так проходит слава земная. Двадцать лет назад кубик Рубика был самым узнаваемым предметом в мире.

– Тебе уже пора в школу? – обращаюсь я к нему.

Он кивает. Движимый искренним сочувствием, я наклоняюсь к нему и глажу по голове. Он отдергивается, и я тут же убираю руку. Какая глупость с моей стороны. В наше время священнику надо быть осторожней, ни один жест уже не кажется невинным.

– У меня вопрос, – говорит он. – На прошлой неделе у нас было религиозное собрание, и там говорили, что Бог всеведущ. Что он знает, какое мы примем решение, еще до того, как мы его приняли. Как же при этом мы можем быть свободными?

Ветер раздувает кисейные занавески, на паркетном полу пляшут солнечные зайчики. Крест на шкафу отбрасывает длинную тень.

– Тайна сия велика.

– Но...

– Когда я говорю о тайне, это означает, что она откры... Была открыта нам. Господь знает, как ты поступишь. Но при этом ты все равно свободен. Поэтому ты и несешь ответственность за свои поступки.

– Но ведь одно с другим не сочетается.

– Потому что и есть тайна.

– Но если Господь знает, как я поступлю, то я ведь не могу совершить какой-то другой поступок! Почему же тогда я должен за него отвечать?

– Потому что это тайна!

– Что значит – тайна?

– Разве тебе не пора в школу?

– Прошу прощения! – в дверях стоит служка, цистерцианец-конверз по имени Франц Ойген Легнер. У него маленькие глазки, и он всегда плохо выбрит. Вот уже два месяца он прислуживает здесь, а до этого был занят где-то в дремучих Альпах. Легнер содержит храм в чистоте, обновляет наш сайт, играет на органе и – не могу избавиться от этого подозрения – шлет епископу отчеты о моей работе. Жду не дождусь, когда он совершит какую-нибудь ошибку, которая дала бы мне возможность пожаловаться на него – в качестве своего рода тактической превентивной меры. Но вот только он, увы, ошибок не совершает. Весьма осторожный малый.

– Ты ведь знаешь, что сделал вчера, – говорит он мальчику.

– Что я такого сделал?

– Это не имеет значения. Просто ты об этом знаешь. Ты это помнишь.

– Помню.

– И при этом ты все равно был свободен. Ты знаешь, как поступил, но мог бы поступить иначе.

– Но ведь это было вчера!

– Но для Господа, – в голосе конверза появляются мягкие нотки, – не существует ни вчера, ни сегодня. Для него нет разницы между настоящим моментом, тем моментом, что был до него, и тем, что будет сто лет спустя. Ему точно так же известно, что ты совершишь, как тебе известно, что ты совершил вчера.

– Не понимаю.

– И не нужно понимать, – говорю я. – Это тайна.

Супротив воли я вынужден признать, что впечатлен. Восемь лет учебы, из которых год я провел в Григорианском университете, – но такое объяснение мне и в голову бы не пришло.

Легнер смотрит на меня так, словно прочел мои мысли, и победоносно обнажает зубы. И все же мне его жаль. Бедный тощий интриган! Куда завела тебя хитрость твоя?

Мальчик поднимает с пола свой рюкзак, и вот он уже за дверью. Пару секунд спустя я вижу в окно, как он плетется по улице. Закрываю глаза и быстро смешиваю цвета, вращая стороны кубика. Открываю и принимаюсь восстанавливать исходный порядок.

– Регистровые рукоятки свистят, – произносит Легнер. Он старается не смотреть на движения моих рук, ведь если бы он на них взглянул, то был бы впечатлен, а так опростоволоситься ему, конечно, не хочется. – У органа. Надо бы вызвать мастера.

– Или, может быть, свершится чудо.

Господи, зачем я это сказал? Это было даже не смешно. Красная сторона кубика уже собрана.

Служка выжидающе смотрит на меня.

– Шучу, – бросаю я устало.

– Господь мог бы свершить чудо, – отвечает Легнер.

– Вне всякого сомнения.

Желтая тоже.

Он молчит, и я молчу.

– Но не свершит, – добавляю я.

И белая.

– Но это не невозможно.

– Нет, не невозможно.

Мы оба молчим. Синяя сторона готова. И зеленая.

– Но он мог бы, – говорит Легнер.

– Однако не свершит.

– Этого нам знать не дано.

– Нет, – соглашаюсь я и откладываю собранный кубик. – Не дано.

Раньше я частенько стоял перед зеркалом и с холодной яростью убеждал себя, что выгляжу недурно. Лицо у меня симметричное, кожа вполне приличная, рост достаточно высокий, грудь и подбородок широкие, глаза совсем не маленькие, да и фигура подтянутая. В чем же тогда дело?

Сегодня мне кажется, что все это было лишь стечением обстоятельств. Нет никакой воли судьбы. И если бы я тогда решил спросить Лизу Андерсон как-то иначе или просто в другой день, все могло бы сложиться по-другому, и сейчас у меня, возможно, была бы семья, а я был бы метеорологом или редактором на телевидении.

Лиза училась со мной в одном классе и сидела чуть в стороне от меня, впереди. Когда она носила короткие рукава, я видел покрывавшие ее руки веснушки, а когда в окна заглядывало солнце, его лучи плясали в ее гладких темных волосах. На то, чтобы подобрать нужные слова, мне потребовалось пять дней.

– Не хочешь сходить в театр? Посмотреть «Кто боится Вирджинии Вулф»?

– Кто боится... кого?

Не то чтобы я любил ходить в театр. Я там скучал, там всегда было душно, а то, что произносили со сцены, – плохо понятно. Но кто-то сказал мне, что Лиза театр любит.

– Это название пьесы.

Она глядела на меня дружелюбно. Я не заикался, к тому же вроде бы не чувствовал, что заливаюсь краской.

– Какой пьесы?

– В... театре.

– Что за пьеса?

– Если посмотрим, узнаем.

Лиза рассмеялась. Все шло хорошо. От облегчения рассмеялся и я.

Она посерьезнела.

С моим смехом и впрямь было что-то не так. Я нервничал, и он звучал несколько громче и звонче, чем следовало. Я тут же постарался это исправить и засмеяться как положено, но

вдруг понял, что забыл, как это делается. Когда до меня дошло, как странно звучит мой хохот, я все-таки покраснел: кожа моя загорелась. Чтобы избежать неловкости, я снова рассмеялся, но вышло еще хуже, и я внезапно осознал, что стою перед Лизой, пялюсь на нее и продолжаю гоготать, а сам при этом наблюдаю за тем, как, гогоча, стою перед ней, все так же пялюсь и дальше гогочу. Румянец обжигал мне щеки.

Сегодня, к сожалению, не получится, сообщила Лиза.

– Но ты же только что...

Ей очень жаль, продолжила она, но она только что поняла, что сегодня у нее нет времени.

– Вот жалость, – хрипло произнес я. – А завтра?

Она промолчала, а потом ответила, что, увы, завтра тоже не получится.

– Послезавтра?

Как ни печально, в ближайшие несколько недель она будет очень занята.

После этого я едва решался взглянуть на нее сзади. Но не мог помешать ей являться мне во снах. В них она была мила со мной, на все согласна и ловила каждое мое слово. Мы то блуждали вдвоем по лесу, то лежали рядом на лужайке, то оказывались в комнате, где свет был приглушен настолько, что я с трудом различал округлые очертания ее плеч, бедер, линию мягко струившихся волос. Проснувшись, я, все еще объятый желанием, но уже терзаемый стыдом, не мог понять, как еще мгновение назад мне чудилось, что это происходит на самом деле.

Пару месяцев спустя, на вечеринке, я разговорился с Ханной Лариш из параллельного класса. Во мне уже были две бутылки пива, воздух делался мягким, бархатистым, и как-то так случилось, что мы заговорили о кубике Рубика. Она тоже играла в этот кубик, он тогда был у каждого, но, как и большинство, она так ни разу и не смогла собрать больше одной стороны.

Все очень просто, объяснил я. Начинать лучше всего с белой, потом нужно собрать на синей и красной букву «Т» – боковушку и середину. Так можно собрать второй слой, крутя середку вправо-влево, затем нужно правильно выставить середину третьего слоя – опять же, тут есть масса возможностей, можно так, можно эдак, продолжал я, вращая руками. Вся штука в том, чтобы быстро сообразить, какие боковушки поворачивать – тут готовых решений нет, все достигается постоянной практикой и с помощью интуиции.

Она слушала. Кубик Рубика был тогда на пике популярности. По телевидению выступали эксперты, в журналах печатались статьи о победителях соревнований. Голос не изменил мне даже тогда, когда я как будто случайно коснулся ее плеча, а стоило мне подойти на шаг ближе, чтобы лучше слышать ее сквозь громкую музыку, как Ханна забрала волосы назад и внимательно посмотрела на меня. О да, вдруг подумал я, все идет как надо, значит, в том же духе и надо продолжать. Была почата третья бутылка, за словом в карман я уже не лез – в том-то и была моя беда.

Я все говорил и говорил. Говорил о том, как трудно было в самом конце правильно проставить угловые квадраты. О том, что, если бы еще немного потренировался, то мог бы претендовать на титул регионального чемпиона, а там и до чемпионата страны рукой подать. Я чувствовал, как утекает время, чувствовал, что скоро что-то должно произойти, и, чтобы скрыть волнение, продолжал болтать.

Она провела рукой по волосам, опустила взгляд, снова посмотрела на меня, и в ее жестах почувствовалось некоторое напряжение. Обеспокоившись, я затарахтел еще быстрее. Она еще раз провела пальцами по волосам, но ничего мне не ответила. А я продолжал болтать. Я ждал, что некий инстинкт подскажет мне, что делать дальше, но инстинкт этот безмолвствовал. Откуда же другие знали, как поступить? Где об этом было написано, где этому можно было научиться? Я посмотрел на часы, чтобы убедиться, что у нас еще есть

время, но она истолковала это действие иначе и тут же сказала, что ей тоже пора домой. «Что, уже? – крикнул я. – Да как же! Нет, не сейчас!» Но на этом мой словарный запас исчерпался. Грохотала музыка, мы молчали. Рядом, в клубах сигаретного дыма, танцевали, прижавшись друг к другу, пьяные одноклассники, под окном целовались двое. Ханна ушла, хотя походка ее казалась нерешительной.

– Плохо прошло? – спросила мать. Она еще не спала. Что было вполне обычным делом, когда я возвращался поздно. Она сидела на кухне и помешивала чай, подливая в него воду с несколькими каплями лимонного сока.

– Что именно?

– Не знаю, но вижу по тебе, что прошло плохо.

Мать осторожно положила ложечку рядом с чашкой, словно это был невероятно хрупкий предмет.

– В жизни бывает, что нужно пытаться снова и снова. Снова и снова. Несмотря на поражения. Тебе может казаться, что так случается только с тобой, но так у всех. Продолжать тоже кажется глупым. Но все равно приходится.

– О чем ты? – сухо спросил я.

– О чемпионате, – после недолгой паузы ответила она. – Все еще впереди. Не дай лишиться себя воли к победе.

Она была еще совсем не старой, но ее волосы уже тронула седина. Мать была чуть полновата и часто улыбалась грустной, отсутствующей улыбкой. В тот момент – было уже за полночь – я, стоя на кухне, думал сразу о множестве вещей: о том, что она, разумеется, права, о том, что не мог обсуждать с ней такие темы, о том, что в былые времена я мог бы просто никуда не стремиться, остаться и жить под ее крылом, не зная ни нужды, ни борьбы, и это никому не показалось бы странным. Клеймить за такое стали лишь с появлением психологов.

Я тоже взял чашку. Из соседней комнаты, где стоял проигрыватель, доносилась негромкая фортепианная музыка. Я налил себе чаю. Необходимо ли вообще отправляться туда, в большой мир? Нельзя ли, действительно, остаться жить здесь, в этом доме, на этой кухне?

Мать покачала головой, словно прочла мои мысли.

– Нельзя позволять себе сдаваться, – повторила она. – Вот в чем суть.

– Почему?

Она промолчала. Я взял чашку и отправился спать.

Прошла еще пара месяцев, я был в квартире Сабины Вегнер. Мы остались наедине, ее семья куда-то ушла, а мы с ней собирались учить латынь. Сабина была толстухой. Нет, она была милой девушкой, добросердечной и неглупой, но у нее все было жирное: лицо, икры, тело, руки. А я, тогда и не подозревая, во что превращусь сам, смотрел на нее насмешливо и свысока, как все остальные. Весь ее вид говорил о том, что она вне игры. Ее кандидатура даже не рассматривалась.

Мы сидели за обеденным столом и слово за словом переводили Тацита. Она пила мятный чай, я – яблочный сок. Наконец мы закончили, и я встал.

– Сейчас новости будут, – остановила меня она.

Мы сели на диван. Горбачев и Рейган пожимали друг другу руки. Хонеккер жалобно скулил в микрофон. Том Круз сидел за штурвалом самолета. На голубом экране ведущая сообщала, что ожидается дождь. И вот уже пошла реклама: домохозяйка, обращаясь к лучшему мужчине в галстук и с дипломатом, потрясала носовым платком и говорила, что так чисто у них в доме еще не бывало. Я приобнял Сабину за плечи.

В первое мгновение я решил, что сделал это по ошибке. Что я такое творил, о чем думал?

Она сидела не шелохнувшись. Краем глаза я заметил, что она не повернула головы. Убери руку, подумал я, пока не поздно. Я наклонился к ней. В ушах у меня шумело, сердце колотилось.

Она же толстуха, мелькнуло у меня в голове.

Но все-таки девушка, подумал я следом.

Тут она повернулась. Взгляд ее был подернут странноватой поволокой. Расплывчатые очертания ее большого тела, сладковатый запах ее духов, моя рука на ее податливой шее.

Голова у меня шла кругом. Не такая уж она и толстуха, подумалось мне. Лицо ее, искаженное оттого, что я смотрел на него в упор, уродливым не казалось. Я видел, что у нее выпала ресничка, покоившаяся теперь на выступавшей скуле. Видел малюсенькую ссадину на ее виске. Видел, как по белку ее правого глаза бежит, ветвясь, красный сосудик, видел поры на коже.

Ее губы накрыли мои, словно ватные. Я неуверенно положил руку ей на бедро. Сабина отстранилась, взглянула мне в глаза, отерла губы тыльной стороной ладони и вновь прижалась ко мне. Мы поцеловались во второй раз, ее рот разомкнулся, и я почувствовал, как шевелится что-то крохотное, живое – ее язык. Ее грудь вздымалась и опускалась, мое сердце стучало, мне было нечем дышать, но этого и не требовалось. Спустя какое-то время она отвела голову назад. Я перевел дух. Она теребила пальцами мой ремень.

Я встал и позволил ей спустить с меня штаны. Она взялась за мои трусы и потянула, чтобы лицезреть мою наготу. Из телевизора доносилась вступительная мелодия детективного сериала. Я бросил взгляд на ее прикрытые блузкой груди – они были округлыми, пышными, большими. Протянул руку, и она двинулась мне навстречу. Тут распахнулась дверь, вошел ее отец, за ним ее мать, за ней сестра, следом такса, следом – моя мать.

Воцарилось молчание. Не говоря ни слова, они наблюдали, как я натягиваю трусы и штаны, застегиваю ремень. Всхрапнув, собака растянулась на ковре и задрала лапы, ожидая, что кто-нибудь ее почешет. Одевался я дольше обыкновенного – руки дрожали. В ушах шумело пуще прежнего, пол словно уходил из-под ног. Такса издавала умоляющие вздохи, но тщетно. Усатый полицейский в телевизоре бормотал что-то об ордере на арест и криминальной полиции Дуйсбурга. Я пересек плывшую у меня перед глазами комнату, взял со стола учебник латыни, тетрадь, словарь, перьевую ручку и направился к двери. Родители Сабины отошли в сторону, пропуская меня. Сестра захихикала. Мать вышла первой.

Мы спустились по лестнице.

– Они ждали автобуса, – сказала она. – Я проезжала мимо и предложила их подбросить. Заодно тебя забрать, – на несколько секунд повисла пауза. – Прости.

Она повернула ключ и открыла дверцу машины. Я уселся на пассажирское сиденье. Мать долго поправляла зеркало, потом завела мотор.

– Мне и в голову не могло прийти!.. – продолжила она. – Сам понимаешь почему. Потому что это Сабина. И в голову не могло прийти!.. Она же не то чтобы очень уж. То есть я и предположить не могла...

Я не отвечал.

– Когда мы с твоим отцом познакомились...

Я подождал. Она никогда о нем не говорила. Но либо до нее дошло, что момент был не самый подходящий, либо она просто раздумала – как бы то ни было, предложение осталось неоконченным. До самого дома она не произнесла ни слова.

Просто сдать – что тут такого уж дурного? Эта мысль казалась мне грандиозной, манящей и взвешенной. Я занял второе место на чемпионате федеральной земли, получил допуск к чемпионату страны, но к тому времени мне стало ясно, что игра в кубик Рубика профессией стать не может. Вопреки всем моим чаяниям правительство не было заинтересовано в услугах специалистов такого рода, крупные компании тоже, и даже создатели ком-

пьютерных программ и производители игрушек предпочитали брать на работу выпускников экономического или математического.

Я же хорошо чувствовал себя в полумраке, любил музыку Монтеверди, мне нравился запах ладана. Нравилась окна старых церквей, переплетения теней под готическими сводами, нравились образы Христа Вседержителя, облаченного в золото Спасителя – властелина всего сущего, нравилась средневековая ксилография, нежность и человечность рафаэлевских мадонн. Меня впечатляла исповедь Августина, я находил поучительными дотошные искания святого Фомы, был всей душой расположен к роду человеческому как таковому – и не имел ни малейшего желания просиживать штаны в каком-нибудь офисе. К тому же я не питал особого пристрастия к самоудовлетворению. Некоторое время я занимался им регулярно, меня переполняли ярость и отвращение, я был убежден, что совершаю эстетическое непотребство, преступление скорее против красоты, нежели против морали. Я словно видел себя со стороны: раскрасневшегося юношу, уже немного пухловатого, который, зажмурив глазки, в спешке орудует рукой. Потому я вскорости оставил эту привычку. С появлением психологов и в этом стало неприлично сознаваться, но забавляться с кубиком мне было гораздо приятнее.

Тогда мне казалось, что вопрос с верой в Бога я уж как-нибудь решу. Не так уж это должно быть трудно. Приложив усилия, и с этой проблемой можно совладать.

В глубине моей души жила надежда, что крещение как-нибудь да сдвинет дело с мертвой точки. Но когда момент настал, в церкви учинили ремонт: стен было почти не видно за металлическим каркасом лесов, алтарный образ затянули брезентом, орган, к сожалению, тоже не работал. Крестильная вода по ощущениям была просто водой, священник производил впечатление закоснелого сумасброда, а стоявший рядом с меланхолично улыбавшейся матерью Ивейн даже не скрывал, что изо всех сил старается не расхохотаться.

И все же я уповал на то, что вера придет. Столько разных умных людей верило в Бога. Нужно лишь больше читать, чаще ходить на службу, больше молиться. Практиковаться. Как только я поверю в Бога, все встанет на свои места, в моей жизни задним числом проявится воля судьбы, и выяснится, что все с самого начала складывалось в общую картину.

Свой двадцать первый день рождения я отмечал с двумя сокурсниками, Кальмом и Финкенштейном, в прокуренной студенческой пивной.

– Августин – просто застарелый аристотелианец, – изрек Финкенштейн. – Он погряз в онтологии вещей – и поэтому отстал!

– Аристотеля нельзя назвать отсталым, – ответил ему Кальм. – Он – воплощение разума!

Такие беседы можно вести только в студенчестве. Финкенштейн носил очки с толстыми стеклами, был вечно румян и набожен, как ребенок. Добродушно-фанатичный Кальм был фомистом и хитроумным апологетом Святой Инквизиции. По выходным он участвовал в соревнованиях по гребле, увлекался миниатюрными железными дорогами – и у него была подружка, что делало его предметом тайной зависти соседей по скамье. На столе перед Кальмом лежала книга Артура Фридлянда «Я называюсь Никто». Я делал вид, будто не замечаю ее, а они ее не упоминали. В наличии этой книги, в общем-то, не было ничего необычного – в тот год ее можно было встретить повсюду.

– Теория времени Августина порядком отстает от аристотелизма, – подал голос я. – Из его трудов очень любят цитировать то место, где он говорит, что знает, что такое время, пока не задумывается о нем. Звучит красиво, но в качестве инструмента познания никуда не годится.

– Тогда теория познания и не была еще парадигмой знаний, – парировал Кальм. – Ее место занимала онтология.

Выдохшись, мы умолкли. Я положил на стол причитавшиеся с меня деньги и встал.

– Что тебя гнетет, Фридлянд?

– Ход лет. Трата времени. Близость смерти и Ада. Тебе этого не понять, тебе всего лишь девятнадцать.

– Существует ли Ад? – задался вопросом Финкенштейн. – Что по этому поводу говорит онтология?

– Существовать-то он должен, – ответил Кальм. – Но в нем может никого и не быть.

– И что же творится в Аду? Скользит ли там, как у Данте, огонь от пят к ногтям, но так, что лишь поверхность пламенем задета?

– Данте пишет не об Аде, – произнес Кальм, – а о нашем истинном бытии. В Аду мы оказываемся в лучшем случае по ночам, в те моменты истины, которые называем кошмарами. Чем бы ни был Ад, сон – это врата, сквозь которые он в нас проникает. С ним каждый знаком, ибо оказывается в нем каждую ночь. Вечная кара – это всего-навсего сон, от которого нельзя пробудиться.

– Ну, в таком случае, – вставил я, – пойду-ка я спать.

На улице уже поджидал трамвай. Я сел, и вагон тут же тронулся, словно меня-то ему и не хватало. Я сел.

– Извиняйте, – произнес кто-то тонким голоском. Передо мной возник скрюченный нищий с косматой бородой и двумя набитыми до отказа целлофановыми мешками. – Подадите?

– Простите, что?

– Денег, – произнес он. – Как вы сделали одному из братьев Моих меньших. Так сделали Мне. Сказал Господь.

Он протянул ко мне растрескавшуюся ладонь. Разумеется, я сунул руку в карман, но в тот же миг старик вдруг опустил на колени, а потом повалился на спину.

Растерявшись, я наклонился к нему. Улыбаясь, он медленно, как будто с наслаждением перекатывался с боку на бок, переваливаясь с левого плеча на правое и обратно. Я огляделся. С нами ехало всего несколько человек, и все они упорно отводили глаза.

Но это был мой долг. Этого требовало христианское учение. Я встал и склонился над мужчиной.

– Я могу вам чем-то помочь?

Его пальцы сомкнулись на моей щиколотке. Хватка у него оказалась на удивление крепкая. Трамвай затормозил, двери распахнулись, две женщины второпях покинули вагон, и мы остались практически наедине. Он посмотрел на меня. Взгляд его был внимательным, пронзительным и ясным, совершенно незамутненным, даже любопытным. Из носа у него побежала капля крови, скрылась в седой нечесаной бороде. Двери закрылись, состав тронулся. Я попытался было высвободить ногу, но он меня не отпускал.

Никто из пассажиров не глядел в нашу сторону. Мы ехали во втором вагоне, до вагоновожатого было как до луны. Свободной рукой он потянулся ко мне и так вцепился в другую мою ногу, что я почувствовал, как его ногти вонзаются в мою плоть. Трамвай подъехал к остановке, вновь открылись двери, кто-то вышел, немного погодя створки дверей снова захлопнулись – наш путь продолжился. Из-под сиденья выкатилось надкушенное яблоко, свернуло с намеченной траектории и исчезло под другой скамьей. Вырваться я не мог – мужчина оказался сильнее, чем можно было предположить. Он осклабился, вопросительно взглянул мне в глаза и опустил веки. Я дернул правой ногой, но освободиться не удалось. Дыхание старика участилось, борода тряслась. Он резко втянул воздух и плюнул. Я почувствовал, как по моей щеке стекает что-то мягкое и теплое. Нищий засопел.

И тогда я его ударил. Он попытался подняться, но я пнул его еще раз, и он рухнул на пол. Пальцы ног занули. Я схватился за поручень, чтобы не потерять равновесия, и отве-

сил ему третий пинок. Он разжал одну руку; вторая по-прежнему цеплялась за меня. Опрокинулся пластиковый пакет, из него градом посыпалась скомканная бумага: обрывки газет, страницы из книг и глянцевого журналов, рекламные проспекты. Из другого мешка раздался скулеж, мне показалось, что в нем что-то шевелится. Трамвай остановился, двери открылись, я наступил ему на запястье. Старик застонал и наконец разжал левую руку. Я выскочил и бросился наутек.

Бежал я долго и остановился, лишь когда силы окончательно меня покинули. Задышавшись, я посмотрел на часы. Десять минут первого. Мой день рождения был позади.

– Уверен, это был не он, – ответил Ивейн.

– Как знать.

– Да никакой это был не дьявол! Хотя, может, и неплохо было бы, если б ты наконец получил по заслугам. Вам вечно требуются какие-то доказательства, которые укрепили бы вашу веру. Но это был не дьявол.

Мы сидели в комнате, когда-то служившей отцу библиотекой. Вдоль стен тянулись корешки книг, снаружи доносился умиротворяющий стрекот газонокосилки.

– Вера не столь важна, – произнес я.

– Ах вот как.

– Священнику дана власть вязать и решить. Вне зависимости от того, что он сам при этом думает. Он не обязан верить в таинство, чтобы таинство свершилось.

– Так вот во что ты веришь?

– Мне и верить в это не надо, это так и есть.

Ивейн скоро отправится в Оксфорд. Всем было ясно, что его ждет большое будущее, и никто не сомневался, что не пройдет и десяти лет, как он станет знаменитым художником. В его присутствии я всегда чувствовал себя неуверенно, всегда ощущал его превосходство, но католическая вера внезапно дала мне положение в обществе, весомое мнение и аргумент, которым можно было парировать все, что угодно.

Только Ивейн раскрыл рот, чтобы возразить, как распахнулась дверь и вошел еще один Ивейн. И несмотря на то что я был к этому готов, их сходство вновь оказало на меня свое магическое воздействие, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что на самом деле происходит.

– Могу я тебя попросить никогда больше не подсовывать мне эту книгу? – Эрик шваркнул об стол томом, заглавие которого гласило: «Я называюсь Никто». – Я не буду ее читать.

– Тем не менее она довольно интересна, – сказал Ивейн. – И мне хотелось бы знать, что ты...

– Меня не интересует. Как по мне, так он мог бы и сдохнуть. Какое мне дело до того, что он пишет?

– На самом деле он не это хотел сказать, – вставил Ивейн. – Просто иногда на него находит.

– Ну а ты? – повернулся он ко мне. – Ты что, всерьез? Все эти молитвы, церковь, семинария? Действительно, всерьез? Мы вообще-то евреи, разве так можно?

– Никакие мы не евреи, – возразил Ивейн.

– Но ведь наш дедушка...

– И все-таки, – перебил он. – Мы, к сожалению, никто. И ты это знаешь.

– Да Мартин в это полез только потому, что никак не может найти себе подружку.

Я сосредоточился на том, чтобы дышать как можно ровнее. И ни в коем случае не краснеть.

– Меня обескураживает плоскость твоего мышления, – продолжил Ивейн. – Мартин – человек серьезный. Понимаю, что для тебя это невообразимо, но он верует и жаждет служения. Тебе этого никогда не понять.

Эрик уставился на меня в упор.

– В самом деле? В Приснодеву, претворение воды в вино, в воскресение? Seriously?

– Это процесс, – кашлянув, ответил я. – Человек верующий всегда находится в пути.

И он никогда...

– Да тебе просто работать лень!

Я поднялся. Как ему всегда удается так быстро меня взбесить? Почему с тем, что он говорит, невозможно поспорить, но при этом он все так безбожно искажает?

– Когда устанешь молиться, приползешь ко мне на коленях, – не сдавался он, – и будешь умолять взять тебя на работу.

– И что же ты сделаешь, когда я приползу?

– Дам тебе работу, что же еще? Ты ведь мой брат!

Он расхохотался и, не попрощавшись, вышел.

– В последнее время он очень нервный, – проговорил Ивейн. – Мало спит. Не принимай его всерьез. – Он раскрыл ту самую книгу, с отсутствующим видом перевернул пару страниц и захлопнул. – Я как-то раз тоже решил, что повстречался с дьяволом. Мне было десять, дело было в торговом центре. В корзине с уцененными товарами копалась женщина. В ней не было ничего необычного, в том, что она делала, тоже, но я вдруг понял: стоит мне задержаться здесь хоть на пару секунд, и случится что-то ужасное. Мать нашла меня через час, я прятался за холодильником в отделе электроники. Она чуть с ума не сошла от страха. Но я по-прежнему убежден, что поступил правильно. Если бы она меня заметила... – Он задумчиво посмотрел в окно. Снаружи шелкали ножницами садовник. Поблескивал на солнце металл. – Но все это чепуха. Мне было десять лет. – Он взглянул на стол, затем посмотрел на меня так, словно на мгновение забыл о моем присутствии. – Ну а в остальном? Какие у тебя планы, намерения? Об этом ведь обычно думают в день рождения, правда? Какие даешь себе зарюки?

– Готовлюсь к участию в чемпионате.

– Снова взялся за кубик?

– Именно, за кубик.

– Желаю удачи. Но хорошо бы тебе...

– Что?

– Не важно.

– Говори уже!

– Верно, кто-то ведь должен тебе об этом сказать. Пока не поздно с этим бороться.

Тебе бы...

– Ну?

– Да какая разница.

– Говори!

– Тебе бы похудеть, смиренный мой братец. Сейчас у тебя это еще может получиться, а дальше будет сложнее. Тебе и впрямь не помешало бы сбросить вес.

«Я называюсь Никто». Что это – шуточный эксперимент, бессмысленный продукт забавляющегося духа или же злостное нападение на душу всякого, кто возьмет в руки оный труд? Никто точно не знает. Возможно, и то и другое.

Повествование начинается со старомодной новеллы о молодом человеке, только-только вступившем на жизненный путь; нам известна лишь первая буква его имени – Ф. Слова сложены ладно, рассказ набирает обороты, и книга читается вроде бы даже с удоволь-

ствием, если бы не преследующее вас чувство, что над вами насмеются. Ф. ждут испытания, в которых он сможет проявить себя; он борется, приобретает знания, побеждает, умнеет, проигрывает, его личность развивается – все, как издавна повелось. Но возникает такое ощущение, что за каждой фразой что-то скрывается, словно сюжет прослеживает свое собственное развитие, слово на самом деле в центре событий оказывается вовсе не главный герой, а покорный, ведомый автором читатель.

Мало-помалу дают о себе знать небольшие несоответствия. Будучи дома, Ф., взглянув на пелену дождя, надевает шапку, куртку, берет зонт, выходит, принимается бродить по улицам, где дождь почему-то не льет, надевает шапку, куртку, берет зонт, выходит – как будто он этого уже не делал. Вскоре после этого возникает его дальний родственник, а ранее как бы между прочим говорилось, что тот уже лет десять как скончался; невинный поход деда с внуком на ярмарку оборачивается блужданием в кошмарном лабиринте; Ф. совершает оплошность, повлекшую за собой далеко идущие последствия, и вдруг ни с того ни с сего выясняется, что ничего такого не было. Разумеется, читатель начинает строить догадки. Постепенно складывается впечатление, что начинаешь понимать, что происходит на самом деле, кажется, что разгадка уже близка, но тут повествование обрывается – да, вот просто так, посреди фразы, без всякого предупреждения.

И читатель вновь пытается сообразить, что к чему. Может, герой умер? Может, все эти странности были провозвестниками конца, первыми, так сказать, прорехами в канве повествования, являвшимися нам, прежде чем нить оборвалась окончательно? Казалось, автор спрашивает – что же такое смерть, как не пришедшийся на середину фразы финал, рубеж, которого тот, о ком в ней говорится, никогда не преодолеет? Что она, если не немой апокалипсис, в котором не человек исчезает из мира, а пропадает сам мир, наступает конец всему – и даже негде поставить точку?

Во второй части речь идет уже о другом. А именно, как убеждает нас автор, о том, что тебя – да-да, именно тебя, и это вовсе не фигура речи – так вот, о том, что тебя не существует. Ты думаешь, что читаешь эти строки? Ну да, разумеется, ты так думаешь. Однако их никто не читает.

Мир не таков, каким кажется. Цветов не существует – есть только волны различной длины. Не существует и звуков – это всего лишь колебания воздуха, да и воздуха, впрочем, тоже не существует, есть лишь связанные друг с другом атомы, помещенные в пространство, причем атом – это тоже всего лишь название, означающее сгустки энергии, не имеющие ни формы, ни конкретного места в пространстве – и вообще, что такое энергия? Числовая константа, неизменная, дающая одну и ту же абстрактную сумму, не субстанция, а соотношение, стало быть, чистая математика. Чем пристальнее всматриваешься, тем очевиднее становится, что повсюду пусто, тем нереальней кажется даже сама пустота. Ведь пространство тоже – всего лишь функция, порожденная нашим духом модель.

Ну а дух, ее породивший? О, не забывай: в твоём мозгу никто не живет. Нет никакой незримой сущности, парящей над нервными окончаниями, глядящей сквозь твои глаза, слушающей там, внутри, твоими ушами и глаголющей твоими устами. Глаза – вовсе не распахнутые окна. Есть только нервные импульсы, но нет того, кто бы их считывал, считал, расшифровывал и думал бы над ними. Ищи сколько хочешь – вот только дома никого нет. Мир в тебе, а тебя-то и нет. Да и это твоё «ты», даже если посмотреть на него изнутри, – пристанище в лучшем случае временное, невольно состряпанное из того, что было: угол обзора всего-то в несколько миллиметров, по краям которого ничего, и в нём самом – слепые пятна, заполняемые привычкой и памятью, мало что хранящей и большую часть додумывающей. Твоё так называемое сознание – не более чем вспышка, сон, который никому не снится.

Так продолжается с полсотни страниц, а то и больше, и вот победа уже близка, читатель практически убежден. Но только вновь закрадывается подозрение, что все это не более

чем ироничная демонстрация... Чего? А тут уж подросла последняя глава. Она кратка и безжалостна, и речь в ней, вне всякого сомнения, о самом Артуре.

Вновь возникает Ф., и на протяжении нескольких страниц его личность подвергается расчленению: он – одаренный, но начисто лишенный мужества, сомневающийся, эгоцентричный до подлости в отношении других, объятый отвращением к себе, быстро начинающий тяготиться любовью, не способный ни на чем остановиться, использующий творчество исключительно как предлог для того, чтобы ничем не заниматься, не желающий интересоваться другими, не умеющий брать на себя ответственность, слишком трусливый, чтобы встретиться лицом к лицу со своими неудачами, слабый, бесчестный, никчемный человек, чей талант годен лишь на то, чтобы породить бессмысленную игру воображения, плодить бессодержательную макулатуру, да еще тихой сапой линять, почуяв неловкую ситуацию, он наконец достиг того состояния, в котором, пресытившись самим собой, вынужден утверждать, что никакой самости не существует и любое «я» – лишь иллюзия и обман.

Но и с этой, третьей частью не все так просто, как может показаться. Действительно ли он так презирает самого себя? Ведь, согласно вышеизложенному, никакого «себя» вообще не существует и все это самокопание не имеет ровным счетом никакого смысла. Так какая же часть какую опровергает? Но на этот счет автор ничего определенного не говорит.

Ивейну, Эрику и мне пришло по экземпляру почтой. Они были доставлены в конвертах из коричневого крафта, без какого-либо посвящения, без имени отправителя. О книге нигде не писали и не говорили, ни в одном магазине она мне не встречалась, и лишь год спустя я впервые заметил ее, идя по улице. Я возвращался домой из университета, и увиденное на миг показалось мне плодом фантазии. Но нет, сидевший на скамейке пожилой мужчина действительно держал в руках именно ее и, погрузившись в чтение, напряженно улыбался самому себе, по-видимому, охваченный сомнениями в своем существовании. Я наклонился и взгляделся в однотонную голубую обложку. Мужчина недовольно встрепенулся, и я поспешил удалиться. Две недели спустя она мне снова встретилась, на этот раз в метро, ее читал мужчина с кожаной сумкой в выдавшей виды шляпе. Прежде чем она вновь встретилась мне на следующей неделе, о ней уже писали во всех газетах – к тому времени книга лишила жизни первого читателя.

Это был романтик со склонностью к метафизическим размышлениям, студент медицинского факультета из города Миндена, который по прочтении решил на довольно странный эксперимент, дабы удостовериться в своем существовании. В точности сути его так никто и не понял, но начался он с того, что тот собирался вести протокол своих переживаний с частотой в минуту, сопровождая его экспериментальными уколами булавкой, которую попеременно втыкал то в себя, то в несчастную морскую свинку, а закончился тщательно продуманным и скрупулезно осуществленным прыжком с железнодорожного моста. Еще через неделю с мюнхенской телебашни бросилась девушка, сжимавшая в руках то же самое издание, что вызвало очередной шквал публикаций в прессе, следствием которой, в свою очередь, стало то, что в городе Фульда владелец фруктовой лавки и его жена покончили с собой, приняв яд. Между трупами была обнаружена книга.

На этом волна самоубийств вроде бы стихла, но вот статьи, мнения и комментарии еще какое-то время продолжали печатать, а вскоре один известный радиоведущий был по собственному желанию помещен в психиатрическую лечебницу после того, как заявил у себя в эфире, что уверен в своем субстанциальном несуществовании, и зачитал довольно длинный пассаж из «Я называюсь Никто». Это привело к тому, что соответствующая парламентская комиссия обсудила вопрос, не требует ли закон о составлении списков опасных книг, фильмов и видеоигр куда более жесткого применения. В ответ раздались саркастические реплики ряда депутатов, выступил со своим мнением епископ, породив очередной всплеск высказываний, посвященных в основном тому, кто же такой этот Артур Фридлянд и почему это он

отмалчивается, не выступает в защиту своей книги, не выступает на публике и даже не дает себя сфотографировать.

Когда тема была настолько исчерпана, что не осталось никого, кто не заскучал бы при одном упоминании романа, имя Артура и стало по-настоящему знаменито. Его следующая книга, «Час охотника», на первый взгляд представлявшая собой вполне традиционный детектив об обуреваемом глубокой меланхолией инспекторе полиции, который, несмотря на весь свой ум и отчаянные усилия, был не в состоянии расследовать безусловно простое дело, довольно долго держался на нижних строчках списка бестселлеров.

Вскоре после этого был опубликован роман «В дельте реки». В нем судьба героя то и дело меняет свой ход по мере того, как он принимает решения, или же в зависимости от того, улыбается ли ему фортуна, и каждый раз описываются оба варианта развития событий, оба возможных жизненных пути, имеющих одну и ту же отправную точку. Все чаще в дело вступает смерть, сложившуюся жизнь и ужасный конец порой разделяет лишь опрометчивый поступок или ничтожная случайность, все больше путей оканчиваются болезнью, несчастным случаем, гибелью и все меньше ведут к достойной старости.

Книга эта странным образом меня тронула, и она до сих пор внушает мне ужас. Отчасти потому, что в ней было показано, как плохо просматриваются последствия всех принятых решений и совершенных поступков: в любую секунду все может рухнуть, и если думать об этом, то как же жить? Отчасти также потому, что я никак не могу избавиться от подозрения, что из всех произведений Артура именно это наиболее явно относится ко мне и к тому летнему вечеру в далеком прошлом, когда меня чуть не сбила машина, – сейчас от него осталось всего лишь далекое воспоминание, это просто случай из жизни, который в худшем случае может иногда отозваться эхом в тяжелом сне после плотного ужина.

Раздается скрип, кто-то втискивается внутрь и преклоняет колена. Я откладываю кубик. Только что мне потребовалось двадцать восемь секунд, чтобы собрать его. Мой личный рекорд – девятнадцать, но это было много лет назад.

- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, – с раздражением произношу я.
- Во веки веков, аминь, – раздается сиплый мужской голос.
- Слушаю.

Он молчит, тяжело дышит, подбирая слова. Я снова смотрю на кубик, но увы, не получается: он может услышать скрежет проворачиваемых слоев, наверняка обратит внимание.

– Я согрешил против целомудрия. Занялся самоудовлетворением. Постоянно им занимаюсь!

Вздыхаю.

– Вот только что. Прямо на улице. Никто не видел. У меня есть жена и любовница. Они друг о друге знают, но не знают, что у меня есть еще одна любовница, она-то знает про них обеих. Но у меня есть еще и третья любовница, о которой не знает никто из них. Она тоже ни про кого не знает, думает, что я живу один.

Я протираю глаза. Стоит страшная жара, меня мучает усталость.

– Все пошло наперекосяк после того, как Клара высмеяла мою жену в фейсбуке. Не подумав, что Пиа у нее в друзьях и может это прочитать.

– Она ее подруга?

– Только в фейсбуке. Я им всем сказал, что баста, с этим покончено, теперь все будет иначе. Но это ведь так тяжело! Как вы вообще это выдерживаете? Никогда не иметь женщины! Меня уже через два часа трясти начинает.

- Поговорим о вас.
- Еще я украл.
- Вот как.

- Чуть-чуть. Тысячу евро. Из корпоративной кассы.
- Кто вы по профессии?
- Налоговый консультант. Мы с любовницей работаем в одной фирме.
- Какой именно?
- Какой фирме?
- Нет, с какой именно любовницей?
- Да с Кларой. С той, о которой моя жена в курсе.
- Почему люди становятся налоговыми консультантами?
- Простите?
- Что сподвигает выбрать такую профессию? Никогда не мог этого понять.

Молчание. Но почему бы и мне не задавать вопросы? Где написано, что и я во время исповеди не могу узнать что-нибудь полезное?

– Я люблю разгадывать кроссворды, – в конце концов отвечает он. – Люблю, когда все аккуратно заполнено. Когда все правильно. Люблю и все тут. На тебя сваливается ворох квитанций, поначалу стоит полный бардак, потом начинаешь заполнять бланки, одно поле, другое, тут крестик, там крестик, и в какой-то момент все сходится. В обычной жизни ничего никогда не сходится. Вам нужен налоговый консультант?

– Нет-нет, спасибо.

– Это были не клиентские деньги, не думайте. Они были из общей кассы на канцелярские расходы. Один мой друг торгует мебелью, вот я ему и говорю: собираюсь купить новые офисные кресла, только не мог бы ты мне выставить немного завышенный счет, ну, тысячи так на три, а потом...

– Вы же только что сказали тысячу!

– ...Потом он привез мне кресла, я заплатил, а разницу мы поделили пополам. Но вот только он, к сожалению, захотел списать ту сумму, которую получил я, как налоговый вычет на непредвиденные расходы, но поскольку он был нашим клиентом, мне пришлось ему сказать, что так дело не пойдет. Я попытался было повернуть пару бухгалтерских фокусов...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.